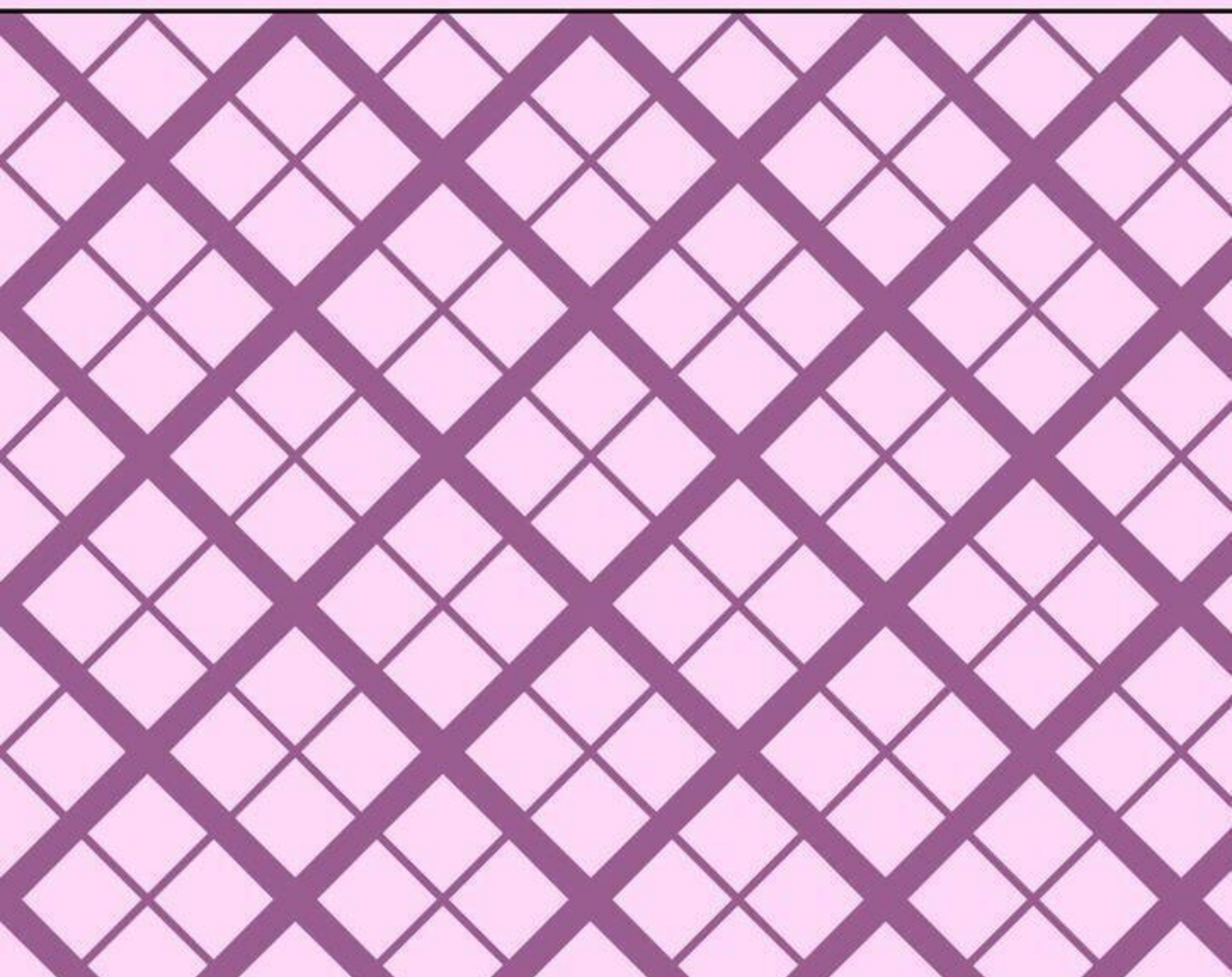


18+

Александр Омеляненко

Горькая целина



Александр Омеляненко

Горькая целина

«Издательские решения»

Омельяненко А. А.

Горькая целина / А. А. Омельяненко — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-00-699624-3

«Горькая целина» — пронзительная история о людях, покоряющих суровую землю. Здесь каждый шаг даётся ценой потерь, а хлеб насущный — через боль и упорство. Роман о силе духа, где степь становится испытанием, дружба — опорой, а надежда — тем, что не даёт сломаться. Судьбы переплетаются под палящим солнцем целины, открывая правду о человеке и его месте в мире.

ISBN 978-5-00-699624-3

© Омельяненко А. А.
© Издательские решения

Содержание

Эпилог	6
Конец ознакомительного фрагмента.	46

Горькая целина

Александр Алексеевич Омеляненко

© Александр Алексеевич Омеляненко, 2026

ISBN 978-5-0069-9624-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«„Ливановка“ — не классический роман, а попытка соединить живую историю людей с атмосферой эпохи. Здесь вы найдёте не только судьбы героев, но и детали времени: обычаи, законы, перемены, которые влияли на жизнь села. Если местами текст покажется вам ближе к историческому очерку — так и задумано: я хотел показать, как эпоха формировала характеры, а характеры — эпоху. Добро пожаловать в Ливановку!»

Эпилог

Степь помнит всё. Она хранит шёпот древних костров, скрип колёс переселенческих телег, смех детей, бегущих к озеру. И если прислушаться — можно услышать, как время сплетает воедино тысячи судеб.

Селу Ливановка в 2025 году официально исполнилось 120 лет. Но эта цифра словно прикрывает собой куда более древнюю тайну: неофициально село старше на два года — ведь с 1894 по 1905 годы в Домбарской волости Оренбургской губернии действовал запрет на открытие новых поселений. А земли, где встал посёлок Ливановский, как раз входили в ту волость.

Но история этих мест начинается вовсе не с царских указов и межевых столбов. Она уходит вглубь тысячелетий.

Ещё в андроновский период здесь жили древние арии. На южной окраине нынешнего села, там, где сегодня выгон скота, археологи обнаружили следы Ливановки-1 — стоянки андроновской культуры. Это эпоха энеолита, VII тысячелетие до нашей эры.

Представьте: ветер гуляет по степи, шевелит седую траву, а под ногами — не просто земля. Под ней спят камни, видевшие первых людей, разводивших огонь на этом месте. Время здесь словно сгустилось, стало осязаемым.

Ливановское поселение расположено у шоссе Костанай — Камысты, там, где к нему примыкает дорога из села Ливановка. И есть в этом месте нечто мистическое: оно лежит на 52-й параллели северной широты — той же, что английский Стоунхендж и российский Аркаим.

Совпадение? Или знак? Мысль о сакральности этих земель невольно закрадывается в голову. Ливановское поселение более чем в два раза старше Стоунхенджа и почти втрое древнее Аркаима. Оно старше Вавилона и египетских пирамид, старше Трои и Рима. Здесь, на стыке времён, дышит сама история.

Когда-то эти земли относились к древней стране Аррата, к эпохе шумеров. И если закрыть глаза, можно почти услышать отдалённый гул голосов, увидеть дым костров, разглядеть силуэты людей, обрабатывающих кремневые орудия.

В 1981 году студенты-заочники Кустанайского педагогического института впервые взяли за лопаты, чтобы прикоснуться к прошлому. Год спустя специалисты Тургайской археологической экспедиции продолжили работу: они осмотрели место и собрали более 50 кремневых предметов, фрагменты керамики. Один сосуд удалось реконструировать полностью.

Руки археологов осторожно очищали находки: вот обломок горшка, вот остриё стрелы, вот костяная проколка. Каждый предмет — как письмо из глубины веков, написанное не словами, а формой, материалом, следами использования.

Особенно поразили учёных четыре венечные кости лошадей. «Головки» их были украшены замысловатым геометрическим орнаментом — словно кто-то давным-давно решил оставить нам знак: «Мы были здесь. Мы умели творить».

Там, где сейчас выгон скота, ещё три тысячи лет назад горели огни. Люди с тонкими чертами лица, говорившие на языке, которого уже никто не поймёт, вырезали на костях лошадей загадочные узоры. Геометрические спирали, ромбы, линии — словно карта звёздного неба, перенесённая на кость.

Они ведь знали что-то. Такое, чего мы уже не узнаем... Археологи нашли эти кости в 1982 году. Один из студентов, держа в руках венечную кость с орнаментом, прошептал: Глава 1. Образование и становление поселка Ливановский

А степь молчала. Только ветер перебирал ковыль, будто перелистывал страницы забытой книги.

В самом сердце бескрайних степей, где ветер поёт древние песни, а горизонт растворяется в дымке, раскинулся посёлок Ливановский. Его история — словно пёстрый ковёр, сотканный из судеб, надежд и испытаний.

В 1903 году на берегу озера появился человек с острым взглядом и мешком, набитым солью. Лявон. Родом из Новоржева, но душа его давно стала кочевой.

Он стоял, засунув руки в карманы, и смотрел на воду. Озеро отражало небо так, что казалось — можно шагнуть и утонуть в синеве.

Место, — сказал он, сплюнув сквозь зубы, — не хуже Новоржева. Только просторнее.

Плати. За землю, за покос, за пашню. Бай из-за Тумарлы наблюдал за ним молча. Верблюды прошёл мимо, гружённый мешками с куртами, и только тогда бай кивнул:

Лявон быстро понял: место — золотое. Караванная тропа, кочевники на джайляу, пустующие земли — всё сулило барыши.

Переговоры шли не один день: чай, долгие разговоры, взвешенные слова. В итоге — договор: Лявон ставит заимку в два-три двора, а взамен платит за усадьбу, покос и пашню. То ли деньгами, то ли работой — бай не гнушался ничем.

Лявон улыбнулся. Он умел считать.

Через год на месте заимки дымились избы. Его лавка стала сердцем нового мира:

соль, чтобы мясо не испортилось;

крупа, чтобы дети не плакали от голода;

сбруя, чтобы лошадь не сбилась с пути;

табак, чтобы скрасить долгие вечера.

К Ливану! Люди шли к нему со словами:

Так и прилипло название.

На склоне берега озера Тумарлы расположился лагерь офицера-землеустроителя — капитана Беляева и его молодой команды. Вдали виднелся киргизский аул Аксакал, а рядом — тихий залив, будто застывший в утренней дымке.

У костра, потрескивающего сухими ветками, сидел помощник Беляева — студент из Санкт-Петербурга Борис. Он наносил на план очертания земель, аккуратно вычерчивая границы участков. Вдруг он оторвался от работы и спросил:

А как назовём посёлок участка 89?

Капитан улыбнулся, глядя на сосредоточенное лицо студента:

Хороший вопрос. Но ответ, кажется, лежит на поверхности. Ты ведь вчера был в лавке местного купчишки из Прибалтики — Лявона?

Был, — кивнул Борис.

И что ты там слышал?

Борис задумался, вспоминая гул разговоров, запах сушёных трав и звон монет.

Да ничего толком не понял... Только одно слово повторялось — «Ливан».

Беляев хлопнул ладонью по колену:

Вот тебе, студент, и ответ! Назовём это новое село посёлком Ливановским. И голову ломать не надо. Местное население само подсказало, какое имя дать нашему посёлку.

Борис улыбнулся, взял карандаш и аккуратно вывел на плане: «Посёлок Ливановский, участок 89». Огонь костра дрогнул, будто одобряя решение, а вдали, за озером, аул Аксакал продолжал дремать под бескрайним степным небом.

Первые избы выросли, как грибы после дождя. Лявон торговал крупами, посудой, сбруей, скотом, мукой, солью, зерном, рыбой, утварью, лесоматериалами, табаком, скобяными товарами. Его лавка стала местом, где пересекались пути казахов-кочевников и первых переселенцев.

Вскоре слухи о свободных землях разнеслись далеко за пределы Оренбургской губернии. В Кустанайский уезд хлынули люди — кто с надеждой, кто с отчаянием в сердце. Чиновники, ошеломлённые наплывом, вынуждены были притормозить заселение. Но поток не остановить.

В 1905 году топографы вновь взялись за карты. Дамбарская киргизская волость, изхоженная кочевниками, теперь должна была принять новых хозяев. Так появились посёлки, в том числе и Ливановский, позже вошедший в Коломенскую волость.

Как они добирались? О, это была эпопея, достойная легенд.

Одни — в холодных теплушках, месяц за месяцем. Железная дорога до Оренбурга, продуваемые сквозняки, болезни, смерти. В Оренбурге — скудный паёк: 100 рублей от казны, 10 от Красного Креста. На эти деньги — лошадь на семью, телега на две. И снова в путь, к месту, указанному чиновником.

Другие — на быках. Тянули скарб от самого Крыма, через степи, под палящим солнцем. Вещи, увязанные в узлы, дети на руках, собаки у колёс — целая вселенная в движении.

А вот и донские казаки. Обоз остановился у озера. Вахмистр, прищурившись, оглядел берег: киргизский аул на крутом склоне, заимка Лявона напротив, кибитки, пасущиеся лошади.

Киргизы на плохих землях сидеть не будут, — бросил он, спрыгивая с коня. — Раздевайся, Белогривый, проверь воду.

Младший урядник нырнул, доплыл до середины, выпил воды, вернулся:

Мягкая. Пресная.

Вокруг — высокая трава, кустарники, родник в зарослях шиповника, одинокая верба у истока ручья. Решение пришло само: здесь быть дому.

Солнце клонилось к закату, окрашивая степь в багряно-золотые тона. Атаман, возвышаясь на коне, коротко махнул рукой:

Распрягать! Ставить шатёр!

Казаки засуетились — привычно, без лишних слов. Лошади, уставшие после долгого перехода, шумно вздыхали, мотая головами. Кто-то похлопывал гривы, кто-то развязывал упряжь. В воздухе запахло конским потом, пылью и свежестью вечерней степи.

На ровной площадке, где трава была примята ветрами, быстро вырос шатёр — полотняный, выцветший от солнца и дождей, но крепкий. Его укрепили кольями, растянули верёвки. Рядом, в низине, уже дымил костёр: кашевар, коренастый мужик с усыпанными веснушками руками, возился с котлом.

Кулеш сегодня! — крикнул он, не оборачиваясь. — С салом да с пшеном. Чтоб все сыты были!

Запах жареного сала и крупы быстро разнёсся по лагерю, заставляя казаков поглядывать в сторону костра с нескрываемым нетерпением.

Сотник, белогривый старик с орлиным носом и цепким взглядом, уселся на перевёрнутый котёл. Вокруг него постепенно собрался круг — казаки, ещё горячие от дороги, но уже готовые к неторопливой беседе.

Ну, братцы, — начал сотник, поправляя пояс, — кто чего видел по пути?

Тут же посыпались рассказы:

один вспоминал, как на переправе через речку конь чуть не унёс седло;

другой хвастался, что приметил стайку диких уток — завтра можно будет поохотиться;

третий, самый молодой, заливался соловьём про встречу с татаринном, который якобы «глядел косо, но не решился подойти».

Смех, шутки, хлопки по коленям — всё это смешивалось с треском дров и бульканьем кулеша. Но даже в самых весёлых рассказах сквозила нотка настороженности.

В стороне, у телег, собрались казачки. Они тоже устали — дорога была долгой, а заботы не кончались: то ребёнок заплачет, то мешок с припасами надо переложить, то платье зашить.

А лавка? — востепенулась третья. — Говорят, у Лявона лавка с товарами. Может, хоть соль да иголки купим... — Слышь, Марфа, — шептала одна, оглядываясь на мужчин, — а вдруг здесь, на новом месте, и воды-то не будет? Да будет вода, — отмахивалась другая. — Лявон говорил, хуторок его стоит у родника.

Их голоса звучали тише, чем мужские, но в них тоже чувствовалась тревога. Женщины переглядывались, вздыхали, но старались держаться бодро — ведь на них держался быт, а значит, и дух всего отряда.

Если присмотреться, у каждого на лице читалось одно и то же: что ждёт впереди?

Сотник, хоть и травил байки, время от времени поглядывал на горизонт — будто пытался разглядеть за линией степи будущее.

Молодые казаки, смеясь, всё же сжимали кулаки, вспоминая, как отец наказывал: «В чужой земле — будь начеку».

Старики, молчащие до поры, перешёптывались о старых походах — о том, как бывало и хуже, но всё равно выживали.

Даже лошади, уже распряжённые, будто чувствовали напряжение — они не щипали траву, а стояли, настороженно поводя ушами.

Но было и то, что согревало сердца: мысль о хуторе Лявона.

И бабы отдохнут, — добавлял третий, кивая в сторону женщин. — Тут и крыша над головой, — говорил один казак, поправляя лямку рубахи. — И лавка... Ага, — подхватывал другой. — Хоть чаю горячего попью, как люди.

При упоминании лавки глаза у всех загорались. Ведь это не просто товары это связь с миром, это знак, что они не одни в этой бескрайней степи.

Солнце окончательно скрылось. Степь погрузилась в сумрак, а небо усыпалось звёздами — такими яркими, что казалось, они вот-вот упадут на землю.

Кашевар разлил кулеш по мискам. Казаки рассаживались вокруг костра, передавали друг другу хлеб, соль, ложки. Женщины раздавали детям тёплые одеяла.

Кто-то затянул песню — тихо, задумчиво. Её подхватили другие. Мелодия плыла над лагерем, смешиваясь с дымом костра и шорохом травы.

А в стороне, у шатра, сотник ещё долго сидел, глядя в темноту. Он знал: завтра — новый день, новые заботы по освоению нового места. Но сегодня можно просто дышать, есть кулеш и слушать, как поют его люди.

Посёлок раскинулся на западном берегу Тумарлы, у ручейка, среди супесчаных холмов. Берега озера пестрели сенокосными угодьями. Шиповник (переселенцы звали его «шипшиной») и ивы обрамляли ручей, а верба, одинокая и гордая, дожила до распада СССР.

Почему Ливановский? Всё из-за Лявона. Местные не могли выговорить его имя. Когда спрашивали: «Қайда барасың?» («Куда идёшь?»), отвечали: «Ливан үшін: жарма, қант» («К Ливану — за крупой, за сахаром»). Так и прилипло.

Землемер нарезал участки: зажиточным — свыше 200 сажень, беднякам вдвое меньше. Соха, мотыга, однолемешный плуг — вот и вся техника. Кто-то получал семена от государства, кто-то покупал.

Три года — освобождение от налогов. Земля поначалу щедро родила: пшеница, рожь, просо, рыжик, гречиха, конопля (из неё ткали холсты). Каждый крестьянин имел лошадь. Летом мужчины подрабатывали на сенокосах у местных баев.

Но были и те, кто приезжал поздней весной или летом. Они не успевали посеять, и их ждали голод и разорение. Кто-то снимал у старожилов 1—2 десятины посеянной пашни, другие кормились покупным хлебом до следующего урожая.

К осени переселенец, оставшийся без хлеба и денег, оказывался на грани. Зима приближалась, а заработков почти не было. Цены на продукты взлетели. Те, у кого были запасы, про-

давали дорого, эксплуатируя слабых. Многие к весне разорялись — продавали скот за полцены, теряли силы и надежду.

Вокруг Ливановского стояли аулы: Юсуп, Назарбай, Карабатыр, Аксакал. Бай Юсуп владел тысячей лошадей. У него ливановцы арендовали сенокосы.

Отношения складывались непросто. Были потравы, угон скота, непонимание. Но постепенно налаживались деловые связи. Некоторые переселенцы смотрели на степь как на «удойную, но покорную буренушку», не понимая кочевого уклада. Другие учились жить рядом, обмениваясь опытом.

Со временем землянки сменились саманными домами. Саман месили у болотистого озера Песчаное. Кочки шли на изгороди и завалинки. Каждый двор имел огород, ток (гумно), где молотили зерно большими камнями с зубьями. Эти камни валялись по селу до 1970-х... Откуда они? Может, снова след Лявона?.

Андрей Вишневский сидел на куче свежесрубленных брёвен, подставив лицо тёплому полуденному солнцу. Рядом, опершись на топор, стоял Фотий Нижник — коренастый, с густыми усами и цепким взглядом.

Ты вот посмотри, — заговорил Андрей, понизив голос, но с явной ноткой восхищения, — как евreckик из Одессы, Давид Личман, развернулся! Успел уже и приказчиком к Лявону устроиться, и стройматериалов закупить... Предприимчивый, ушлый.

Фотий хмыкнул, покрутил ус:

А что ж... Человек дело знает. В нашем деле без смекалки — никуда.

В этот момент из-за двора Мостовых донёсся чистый, звонкий голос. Кто-то пел — песню о бурской войне в Африке. Мелодия лилась плавно, то взлетая, то опадая, словно ветер над степью. Как она попала в Ливановку — одному богу известно.

Андрей замолчал, прислушался, потом почесал затылок и усмехнулся:

Еврей он и в Африке еврей... Вот откуда, оказывается, берутся крылатые фразы.

Фотий рассмеялся, закинув голову:

Это ты метко подметил. Метко.

Песня всё звучала — то ли из окна, то ли с крыльца, то ли просто ветер носил её по улицам молодого посёлка. А Андрей и Фотий снова вернулись к разговору — о делах, о планах, о том, как быстрее поставить дома, проложить дороги, обжить эту степную землю.

Но где-то в глубине души оба знали: эта песня, это «еврей он и в Африке еврей» — не просто слова. Это отзвук времени, когда люди, словно семена, разносились по свету, но где бы ни оказались — сохраняли себя, свою хватку, свою жилку.

И Ливановка — только начало.

Ливановский же жил. Он рос, менялся, впитывал в себя судьбы, как губка — воду. И сегодня, если прислушаться, можно услышать шёпот ветра, рассказывающего истории о Лявоне, казаках, киргизах и тех, кто пришёл сюда.

В те далёкие годы, когда земля ещё хранила следы кочевий и ветер носил запахи ковыля и полыни, в Ливановские края потянулись люди — не от хорошей жизни, а от безысходности. Это были не богачи, не сытые хозяева, а те, кого судьба прижала к земле так, что дальше некуда.

Бежали из центральных губерний России, из Малороссии — оттуда, где земля давно перестала кормить, где избы стояли с прохудившимися крышами, а в амбарах пылилась последняя горсть зерна. «От добра добра не ищут», — говаривали старики. А тут искали. Потому что добра-то как раз и не было. Было лишь острое, щемящее чувство, что где-то там, за горизонтом, может быть иначе.

Перед тем как целое село решалось на переселение, отправляли ходоков. Выбирали не абы кого, а мужиков пограмотнее, побойчее, посмекалистей — тех, кто и в разговоре не растеряется, и примету заметит, и в бумагах разберётся. На них скидывались всем «обществом» —

кто пятак, кто гривенник, кто краюху хлеба. И шли они, как разведчики в неведомую землю, чтобы вернуться с вестью: есть ли там жизнь?

И возвращались они — кто с горящими глазами, кто с опущенными плечами.

Одни рассказывали:

«Земля — что масло, пахать — одно удовольствие! Луга — до самого неба, вода — чистая, как слеза. Места вольные, никто не давит, никто не притесняет. Берите семьи — и вперёд!»

Другие же, глядя в глаза односельчанам, вздыхали:

«Землица-то есть... Да только далеко. Так далеко, что и представить трудно. Городов рядом нет, селений — тоже. Дороги? Да какие там дороги — степь да степь. Летом — суховей, трава горит, а зимой... Зимой, братцы, такое начнётся — забуранит, завьюжит, занесёт всё, что есть. Снежная пелена закроет горизонты, заштормит от всего мира. Сидишь в землянке, а за дверью — белая пустыня. И ни души...»

Слушали таких «чрезвычайных и полномочных послов» молча. Кто-то курил самокрутку, выпуская дым в холодный воздух, кто-то чесал нестриженный затылок, кто-то теребил небритую бороду. Задавали вопросы — осторожно, будто боясь услышать ответ. Ахали. Вздыхали.

Многие отступали. Глядели на свои лапти, на ветхие избы, на худобу в хлеву — и понимали: не потянуть. Не хватит сил, не хватит воли, не хватит удачи.

Но были и другие. Те, кому терять было нечего. Те, кого жизнь уже давно была смертным боем, кто знал, что завтрашний день не принесёт ничего, кроме голода и унижения. Они слушали, кивали, а потом говорили:

«А что терять? Тут — верная погибель. Там — хоть шанс».

И вот — сборы.

Стягивали пожитки в узлы, грузили на телеги, увязывали верёвками. Дети плакали, собаки скулили, куры металась по двору. Старухи крестились, мужики молча затягивали последние узлы.

Кто-то шёл пешком, ведя за собой корову — последнюю кормилицу. Кто-то трясся в телеге, глядя, как родной край растворяется в дымке. Кто-то ехал на поезде — в холодных, продуваемых теплушках, где на стенах иней, а на полу — трупы тех, кто не выдержал дороги.

А впереди — неизвестность. Степь. Озеро Тумарлы. Заимка Лявона. И — надежда. Слабая, как огонёк в ночи, но всё же — надежда.

Караван из Оренбурга уже третью неделю плёлся по южноуральским степям — медленно, словно огромный уставший зверь, прокладывающий путь сквозь волны травы. Вдали, едва различимые на горизонте, маячили очертания казахских земель Тургайской губернии. Был май — время, когда степь расцветает буйным, почти неправдоподобным великолепием.

Вокруг расстился живой ковёр:

алые тюльпаны, будто капли крови на зелёном полотне;

жёлтые — как рассыпанные монеты;

белые — нежные, словно первые снежинки.

Они колыхались на ветру, перекликаясь друг с другом, создавая причудливую мозаику цвета. А впереди, пробиваясь сквозь заросли ковыля, блеснул ручей — узкий, но звонкий, будто серебряная нить, протянутая через бескрайние просторы.

Караван начал замедляться. Люди переглядывались с облегчением: пора было остановиться на ночёвку.

Солнце клонилось к закату, окрашивая степь в золотисто-розовые тона. Тени становились длиннее, а воздух — прохладнее, напоёнными ароматами трав: полыни, чабреца, дикой мяты.

Устинья, женщина с широкими, сильными руками и спокойным взглядом, деловито поставила треногу над выбранным местом. С привычным движением навесила котёл, затем кивнула мужу:

Макар, сходи за кизяком. А то скоро темнеть начнёт.

Макар, не говоря ни слова, взял мешок и отправился по степи. Он шагал, внимательно глядя под ноги: сухие комья навоза, высохшие на майском солнце, были лучшим топливом для костра.

Вскоре огонь уже весело потрескивал, а в котле забулькала вода. Запах щей — густой, наваристый, с нотками капусты и лука — разнёсся над степью, смешиваясь с дымом и вечерней свежестью.

Небо темнело постепенно: сначала стало лиловым, потом — глубоким синим, усыпанным первыми звёздами. Степь затихала: птицы смолкли, лишь изредка доносилось стрекотание кузнечиков.

Люди собрались вокруг костра. Кто-то расстилал одеяла, кто-то доставал из телег скудные припасы — хлеб, сушёное мясо, соль. Разговоры шли тихо, вполголоса:

о том, сколько ещё идти до Тургайской губернии;

о том, какая там земля — подойдёт ли для пашни;

о том, что ждёт их впереди.

Но в этих разговорах не было тревоги — только усталая задумчивость.

Пламя костра выхватывало из темноты лица:

Устиньи — спокойное, с морщинками у глаз, выточенными годами труда;

Макара — суровое, с обветренной кожей и сединой в бороде;

молодых парней, только начинающих свой путь в этом бескрайнем мире;

детей, притихших у материнских колен.

Тени плясали на телегах, на траве, на лицах. Где-то вдали — протяжный крик ночной птицы, а здесь — треск дров, шёпот женщин, мужской басок.

Готово. Котёл уже кипел вовсю. Устинья помешала варево длинной ложкой, принялась:

Миски застучали по деревянным доскам. Люди ели молча, наслаждаясь теплом, едой, чувством короткого покоя.

Когда ужин закончился, а костёр начал угасать, люди не расходились. Сидели, глядя на угли, на звёзды, на тёмный силуэт степи. Каждый думал о своём:

Устинья — о том, как завтра снова вставать на рассвете, как варить щи на новом месте;

Макар — о том, хватит ли сил дойти до конца пути, о том, не обманет ли их эта земля;

дети — о завтрашнем дне, о новых просторах, о том, какие чудеса ждут их впереди.

Ветер донёс запах печёной картошки — кто-то успел сунуть клубни в золу. Дети засмеялись, и этот смех, звонкий, как колокольчики, разорвал вечернюю грусть.

Вся кагорта собралась вокруг другого костра: мужчины с усталыми, обветренными лицами, женщины в цветастых платках, ребятишки, вертящиеся у самых углей. Над котлом поднимался пар, разнося по округе густой аромат щей — с капустой, морковью и куском солонины, что томила в бульоне с самого утра.

Ну что, братцы, за трапезу! — крикнул староста, поднимая деревянную ложку.

Гул голосов накрыл поляну: кто-то хвалил щи, кто-то ворчал, что картошка недоварена, кто-то смеялся над шуткой соседа. Ложки стучали по мискам, дым вился кольцами, а огонь то и дело вспыхивал ярче, будто подбадривал собравшихся.

Когда миски опустели, а котелок был выскребен до дна, Оксана — молодая дивчина из Каменец-Подольской губернии — тихо прислонилась к колесу телеги. В её глазах ещё плясали отблески пламени, а на губах дрожала полуулыбка.

Она затаила:

Що в степах новий дiм знаходить?..О мамо, мамо, чого ж ти плачеш, Чого сльози у вічі збираєш? Чи не знаєш, що донька твоя щаслива,

Голос её был негромким, но чистым, как родниковая вода. Он плыл над костром, над силуэтами телег, над задумчивыми лицами женщин.

Пожилые крестьянки, сидевшие поодаль, переглянулись — и одна за другой подхватили припев. Их голоса, чуть надломленные годами, сплетались с юным сопрано Оксаны в печальную, тёплую мелодию. Кто-то вытер платком уголок глаза, кто-то вздохнул, покачивая головой.

Мужики, до того оживлённо обсуждавшие посевы, притихли, слушая песню. Но когда последние ноты растаяли в вечернем воздухе, разговоры возобновились — теперь уже тише, серьёзнее.

Тяжко тут, в казахских землях, — проговорил Игнат, проводя ладонью по щетинистому подбородку. — Земля — как камень. Вспашешь — а она тебе в ответ пыль да корни.

А вода? — подхватил другой. — Колодец выроем — а через месяц он уже сухой. Будто сама степь пьёт нашу надежду.

Зато воля, — вдруг сказал старик Трофим, помешивая угли палкой. — Здесь нет барина, нет барщины. Своя земля, свой хлеб, свой суд.

Воля-то воля, да голодная, — усмехнулся кто-то.

Но даже в этой усмешке не было злобы — только усталая правда.

Костёр разгорался ярче. Пламя выхватывало из темноты лица:

морщинистое, с мудрым взглядом — Трофима;

румяное, с веснушками — Оксаны;

суровое, с опущенными уголками губ — Игната;

детские, любопытные — ребяти, жавшейся к матерям.

Тени плясали на телегах, на плетнях, на стволах старых берёз. Где-то вдали — протяжный крик ночной птицы, а здесь — треск дров, шёпот женщин, мужской басок.

Оксана снова запела — уже другую песню, про степь и дорогу. И мужики, поначалу хмурые, понемногу начали подпевать — нестройно, но искренне.

Когда огонь начал угасать, люди не расходились. Сидели, глядя на угли, на звёзды, на тёмный силуэт степи. Каждый думал о своём:

Оксана — о доме, оставленном за тысячу вёрст, и о том, что этот костёр теперь её семья;

Игнат — о том, как завтра снова идти в поле, хотя руки уже не поднимаются;

Трофим — о том, что даже в самой глухой степи можно найти покой, если есть с кем разделить ужин и песню.

Ну, пора, — сказал наконец староста, вставая. — Завтра рано вставать.

Люди начали расходиться, но ещё долго доносились обрывки разговоров, шёпот, а где-то — снова голос Оксаны, напевающей вполголоса.

А костёр догорал, рассыпая искры в тёмное небо, будто отправлял их в долгий путь — к тем, кто ждал дома, к тем, кого уже не было, к тем, кто ещё родится в этих степях.

Потому что даже в самой глухой степи, даже в самой лютой зиме, даже в самой тяжёлой доле — человек всё равно ищет место, где можно сказать: «Это — мой дом».

Другие ехали месяцами. В теплушках, где на стенах иней, а на полу —

Первые дома — ямы, вырытые в земле. Стенки из дёрна, крыша из того, что нашлось. Внутри — печь, икона, лавки. Летом ставили печи под открытым небом.

Тут будет наш дом. Тут мы выживем. Старуха Марфа, укладывая детей на солому, шептала: Но степь не щадила. Болезни косили людей, скот падал, а зима накрывала всё белой пеленой.

Она не ответила. Только крепче прижала к себе ребёнка. — Где мы? — спрашивал один мужик, глядя в окно, засыпанное снегом. В Ливановке, — отвечала жена, подбрасывая в печь последние дрова. А где это?

На соседнем холме стоял аул Юсупа. Бай владел тысячей лошадей. Его люди смотрели на переселенцев с недоверием.

Помоги найти. Однажды казак Иван, потеряв корову, пошёл к Юсупу:

Ты сначала научись за ней смотреть. Юсуп усмехнулся:

Но корову вернул.

Со временем они научились понимать друг друга. Казахи показывали, где лучшие пастбища, переселенцы делились солью и мукой.

Только жить надо по-людски, — добавлял Иван. — Степь одна на всех, — говорил Юсуп.

Со временем землянки сменились саманными домами. Саман месили у озера Песчаное. Кочки шли на изгороди, глину — на стены.

Потому что из земли, — ответила мать. — Как мы сами. Девочка Аня, помогая матери, спросила: Почему наши дома коричневые?

Степь не щадила новичков. Она принимала лишь тех, кто умел слушать её голос — тихий, как шелест ковыля, но твёрдый, как камень. А те, кто пришёл сюда в первые годы, были людьми упрямыми. Их имена теперь — словно шёпот в траве: Садченко, Нижник, Щербины, Пищенко, Акименко, Бардак, Белогривый, Гардичук, Губенко, Журный, Козлов, Колисниченко, Матушак, Нашир, Вишневский, Воробьёв, Кишук, Коваль, Мамченко, Личман, Чеботарский...

Каждый из них принёс с собой не только скарб, но и надежду.

Они приехали — кто с телегой, кто пешком, кто с ребёнком на руках, кто с кошкой в мешке. Огляделись: степь, озеро, ветер, который будто шептал: «А выдержите?»

Здесь будем жить. Степан Аврамович Садченко, поставив телегу, сказал:

А жена его, Марья, молча смотрела на голые холмы. В глазах — ни слёз, ни страха. Только усталость.

— Земля — что камень. Но если расковырять — даст хлеб. Фотий Семёнович Нижник, осмотрев участок, хмыкнул:

И они начали.

Первые жилища не строили — выкапывали. Землянки. Ямы, стены из дёрна, крыша — из чего нашлось: ветки, солома, тряпьё. Внутри — печь, лавка, икона в углу.

Очевидец вспоминал:

«Путь оказался труднее, чем думали... Пошли болезни, стала падать скотина, да и народ порядком издержался... Многие были растеряны, понимая, что вокруг одни такие же переселенцы, никто на горе их не отзовется, никто не придёт на помощь».

Улица посёлка выглядела так:

избы — то без крыши, то без дверей, то с выбитыми оконницами;

усадыбы — одни обнесены канавой вместо забора, другие открыты всем ветрам;

пустыри, мазанки с подслеповатыми окошками;

брёвна, кучи земли, дёрн.

А в стороне — землянка. Не дом, а логово. Но в ней горел огонь. И это значило: люди живы.

Не все смогли.

Латыши, сектанты — те, кто привык к суровой доле, — держались крепче. Они знали: если сегодня плохо, завтра может быть лучше.

А вот переселенцы из центральных губерний, особенно женщины, долго не могли смириться.

Как тут жить? — спрашивала одна баба, глядя на степь. — Ни леса, ни реки, ни соседей...

А ты смотри на озеро, — отвечала ей соседка. — Оно — как зеркало. В нём и дом, и небо, и мы.

Но не все умели так видеть.

Каждое утро начиналось с печи. Дрова — редкость, потому топили кизяком, сухой травой, даже костями животных.

Женщины пекли хлеб из муки, которую молотили на камнях. Мужчины чинили телеги, копали колодцы, ставили изгороди из дёрна. Дети собирали шиповник — его заваривали вместо чая.

Почему наш дом — яма? Однажды мальчик, сын Абрама Пищенко, спросил:

Потому что земля нас держит. Если бы мы стояли высоко — ветер унёс бы. Отец, не отрываясь от работы, ответил:

Рядом жили казахи. Их юрты стояли на холмах, а скот пасся на лугах. Сначала — недоверие. Потом — осторожный обмен:

переселенцы давали соль, муку, иголки;

казахи — молоко, кумыс, советы по выживанию.

Степь не любит слабых, — говорил бай Юсуп. — Но и сильных не балует.

Мы не слабые, — отвечал Степан Белогривый. — Мы просто не знали, как тут жить.

Со временем научились.

Рассвет подкрался к Тумарле тихо, будто боялся спугнуть сон воды. Небо на востоке наливалось розовым, а озеро ещё дремало под пеленой тумана. Только камыши шептались с ветром, да где-то вдали вскрикивала проснувшаяся птица.

Фотий пришёл ещё затемно. Его лодка — старая, но крепкая, с выцветшей синей полосой вдоль борта — тихо скользнула по зеркальной глади. Он двигался без суеты: знал каждый плес, каждую ямку, где любят держаться караси.

На плесе, где среди густой зелени камыша и рогоза распустились белые лилии, он замер. Вода здесь была особенно прозрачной — видно, как у дна шевелятся золотистые спины карасей.

Ну, нынче уж точно не с пустыми руками, — пробормотал Фотий, разворачивая сеть.

Он работал молча, ловко перебирая узлы. Сеть легла в воду бесшумно, как тень. А потом — ожидание. Тишина. Лишь изредка всплеск: карась выпрыгивал, сверкнув золотом, и снова нырял в глубину.

Заря уже залила небо алым, когда Фотий потянул сеть. И ахнул:

Матерь Божья... Да тут же весь плес!

Сеть вздулась, тяжёлая от рыбы. Золотистые караси бились в ячейках, переливаясь на солнце, будто монеты. Их было столько, что сеть едва поддавалась — приходилось тянуть медленно, осторожно, чтобы не порвать.

На всю неделю хватит... Да ещё и соседу отсыплю. Когда наконец он вытащил улов на берег, караси лежали горкой — живые, блестящие, с розовыми жабрами и чёрными глазками-бусинками. Фотий вытер пот со лба:

Он набрал ведро рыбы, накрыл мокрой тканью и понёс к дому Митрофана Липчанского.

Эй, сосед! — крикнул, постучав в калитку. — Принимай дар от Тумарлы!

Там, где лилии цветут. Всё озеро — твоё, выбирай! Митрофан вышел, шурясь на солнце: Да ты что, Фотий! Где столько взял?

Оба засмеялись. Караси в ведре шевелились, будто торопили: «Жарьте нас скорее!»

К полудню над Ливановкой поплыл аромат: жареный карась, приправленный луком и укропом, с лёгкой горчинкой от рыжикового масла. Дым из печных труб смешивался с запахом рыбы, и даже собаки, обычно равнодушные, вытягивали носы и бежали к домам, где готовили угощение.

У дома Митрофана уже столпился народ. На столе — сковорода, полная золотистых карасей, миска с варёной картошкой, краюха хлеба. А рядом — бутылка самогона, запотевшая от утренней прохлады.

За Тумарлу! — откликнулся Фотий. — За её щедрость! Иван Сиротенко, придя на запах, хлопнул Митрофана по плечу: Ну что, брат, за улов?

Стаканчики стукнулись. Первый глоток — с прищуром, второй — с улыбкой. А потом Иван взял гармонию.

Гармонь вздохнула, будто проснулась после долгого сна. Иван провёл пальцами по клавишам — и полилась песня:

Сльозами полита!..Ревэ та стогне Днипр широкий, Та серед хвиль його високих Уже стоїть, як та верба,

Голос Ивана, густой и немного хриплый, взлетел над селом. Женщины подхватили припев, мужчины кивали в такт. Даже дети, обычно шумные, затихли, слушая.

А над Тумарлой, над камышами и белыми лилиями, плыла мелодия — такая же широкая, как Днепр в песне, такая же глубокая, как само озеро.

Караси на сковороде шипели, будто подпевали. Солнце поднималось выше, и его лучи, пробиваясь сквозь дым, золотили всё вокруг: и лица, и рыбу, и капли росы на камышах.

Когда песня стихла, а самогон кончился, люди расходились неспешно, с сытыми улыбками и тёплыми взглядами. Кто-то задержался у колодца, переговариваясь, кто-то сел на зава-linkу, глядя на закат.

— Верно, — кивнул Митрофан. — Без этого — никуда. Фотий, провожая гостей, сказал Митрофану: — Вот так и живём. Озеро кормит, песни лечат, а соседи — они как семья.

Озеро Тумарла молчало, отражая звёзды. Караси спали в траве, камыши шептали что-то своё, а где-то вдалеке снова запела птица — будто подхватила последнюю ноту песни. После щедрого угощения у Митрофана молодёжь незаметно для старших ускользнула за околицу. Дивчата в цветастых платках, хлопцы с озорным огнём в глазах — все собрались в шумную стайку и, перекликаясь, направились к берегу Тумарлы.

Майская ночь обнимала село тёплым бархатом. Воздух был напоён запахом цветущей черёмухи и свежей травы. Луна, полная и янтарная, разливала по земле молочный свет, превращая привычные тропы в волшебные дорожки.

Парни шли впереди, громко переговариваясь, подбрасывая в воздух сухие веточки. Девушки шептались позади, смеялись, прикрываясь рукавами. Где-то в кустах заливался соловей — будто подбадривал молодёжь.

А ну, не отставать! — крикнул Остап, самый бойкий из хлопцев. — Сегодня Тумарла наша!

Они выбрали место там, где озеро подступало почти к самому селу, а на пологом склоне темнела полоса конопли — высокая, густая, шелестящая на ветру. Парни быстро собрали сухие ветки, разожгли костёр. Пламя взметнулось вверх, рассыпая искры, словно праздничные огни.

Сначала пели — задорные, плясовые. Потом взялись за игры:

кто дольше продержится, глядя в огонь;

кто прыгнет выше через пламя;

кто расскажет самую страшную байку о русалках Тумарлы.

Смех, крики, хлопки ладоней — всё сливалось в единый гул, будто само озеро вторило им тихим плеском волн.

Когда часы ночи перевалили за полночь, веселье стало тише. Костёр догорел до углей, но звёзды горели ещё ярче — россыпью бриллиантов на чёрном бархате неба.

Пары начали расходиться. Кто-то усаживался у воды, глядя на отражение луны. Кто-то уходил в тень ив, шепчась. А Моисей и Дарья незаметно скользнули в заросли конопли.

Там, среди высоких стеблей, пахнущих летом и тайной, они остановились. Ветер шелестел листьями, а где-то вдали всё ещё доносились голоса товарищей.

Моисей взял её за руку — ладонь была тёплой, чуть дрожащей. Дарья подняла глаза — в них отражались звёзды.

Тихо, — прошептал он. — Слышишь?

Она кивнула. Только сердце билось громко, будто хотело вырваться наружу.

Их губы встретились — сначала робко, потом жадно. Руки нашли друг друга, сплелись, как стебли растений вокруг. Время остановилось. Остались только тепло, дыхание, шёпот:

Тише, тише... — шептала Дарья. — Сломаешь меня...

Но это была не просьба — это было признание. В этом «тише» было всё: и страх, и восторг, и долгожданная свобода.

Они опустились на мягкую траву. Конопля скрыла их, как занавес. А над ними — бесконечное небо, усыпанное звёздами.

Где-то далеко, за холмами, начало светлеть. Первые лучи рассвета робко тронули край неба, окрасив его в розовый. Звёзды медленно гасли, уступая место новому дню.

Моисей и Дарья лежали, прижавшись друг к другу. Их волосы смешались, как травы вокруг. Они не говорили — слова были лишними. Всё уже сказано.

Вдалеке прокричал петух. Где-то залаяла собака. Село просыпалось.

Дарья приподнялась, посмотрела на восток, где небо становилось всё ярче.

Уже утро, — прошептала она.

Значит, пора уже и в поле. Моисей улыбнулся, провёл рукой по её щеке:

Они встали, поправили одежду. В глазах — сияние, которого не было вчера.

Оглянулись на коноплю — она шелестела, будто хранила их тайну.

А над Тумарлой уже поднималось солнце, заливая всё вокруг золотым светом. Новый день начинался — такой же прекрасный, как их ночь.

Годы шли. Землянки сменились саманными домами. Избы выросли выше травы. Дети, рождённые в ямах, ходили в школу.

Но старые камни остались. Те самые, что использовали для молотьбы зерна. Они валялись у гумна, покрытые мхом, но всё ещё крепкие.

Камень молчал. Но в нём жила история. Старик Нижник, проходя мимо, погладил один: Ты помнишь, как мы начинали?

Сегодня в Ливановке мало кто помнит имена первых поселенцев. Но их дух — в ветре, в запахе шиповника, в скрипе старых ворот.

Если пройти по южной окраине, можно увидеть:

вербу, которая стояла тут ещё до их приезда;

ручей, где когда-то мальчик пил воду и говорил: «Она мягкая, как молоко»;

камни, на которых молотили зерно.

Годы шли, и посёлок рос. В 1906-м приехали 17 семей, в 1907-м — уже 27, потом 20, потом 30... Люди прибывали, оседали, вращались в эту землю — кто корнями, кто лишь тенью.

Кустанайский уезд был скуп на лес. Дремучие чащи принадлежали казне, и простому переселенцу до них не дотянуться. Но бумага из канцелярии гласила:

«В случаях, когда на переселенческом участке не имеется строевого леса, допускается безвозмездно отпускать лесные материалы из казённых дач: до 200 строевых деревьев и 50 жердей на двор; сверх того — для бань по 20 деревьев, для гумен и риг — до 60 деревьев».

Зажиточные крестьяне хватались за эту милость сразу:

везли брёвна;

ставили избы с резными наличниками;

хвалились перед соседями: «Царёва рука не оскудеет!»

Лука Мостовой, ещё подросток, вместе с отцом отправился в Аманкарагай — за лесом. Ливановцы по царскому повелению получали древесину из казённых дач этого бора, и работа была срочной: посёлок рос, нужны были брёвна для домов, для заборов, для амбаров.

Они ночевали под открытым небом — отец и сын, два работника среди десятков других. Холодная степная ночь, костёр, едва тлеющий к рассвету... Лука проснулся от странного ощу-

щения: тишина была слишком тихой. Он повернулся к отцу — и с ужасом понял: тело рядом холодное, неподвижное.

Паника сковала сердце. Руки дрожали, когда он запрягал лошадей. Мысли путались: «Что сказать в посёлке? Как объяснить? Почему не проснулся раньше?» Но времени на раздумья не было — нужно было ехать. Во весь дух, сквозь предрассветный туман, Лука погнал лошадей обратно в Ливановку.

Так он остался сиротой.

А ещё — загнал лошадей.

Когда Лука въехал в Ливановку, первые лучи солнца уже касались крыш новых домов. Люди выходили из изб, зевали, разминали спины перед работой — и замерли, увидев его.

Лука? — окликнул кто-то. — А где отец?

Он не смог ответить. Только прыгнул с телеги, опустился на землю и зарыдал — громко, отчаянно, как может рыдать ребёнок, который вдруг оказался совсем один в этом мире.

Вокруг собрались соседи. Кто-то накинул на плечи тёплую куртку, кто-то принёс воды, кто-то тихо сказал:

Беда...

Лука не знал, что делать дальше. Дом — полупустой, работа — непосильная, а в глазах односельчан — то сочувствие, то настороженность: «Как он справится? Мальчишка...»

Но он справился.

Потому что выбора не было.

Он научился молчать — не от обиды, а от необходимости. Слова теперь стоили дорого, как и каждый кусок хлеба.

Он стал работать — без передышки, без жалоб. Рубил, пилил, таскал — так, чтобы усталость заглушала боль.

Он запомнил: степь не жалеет никого. И если хочешь выжить — надо быть сильнее ветра, холоднее ночи, твёрже камня.

А беднота медлила. Деньги копились медленно, заказы задерживались — и вот уже акция закончилась. Им оставалось одно: земля.

Дома не строили — выкапывали. Плуг выворачивал пласты дёрна, из них складывали стены. Крыша — из того, что нашлось: ветки, солома, старые тряпки.

Внутри — простота, почти святость:

русская печь, дышащая теплом;

икона в переднем углу, обращённом к восходу;

лавки вдоль стен, где спали, ели, мечтали.

Очевидец описывал:

«Дом делился на две половины. В одной — жизнь, в другой — надежда. Печь грела тело, икона — душу».

Здесь, в полумраке, при свете лучины, рождались дети, умирали старики, плелись разговоры о том, «как там, в старой жизни».

Кто сумел подкопить — переходил на саман. Его месили у болотистого озера Песчаное. Глина, солома, вода — и вот уже кирпичи сушатся на солнце, будто огромные лепёшки.

А кочки с болота шли в дело:

из них выкладывали изгороди;

насыпали завалинки у домов, чтобы холод не пробрался внутрь;

обкладывали огороды, защищая грядки от скотины.

Земля нас кормит, земля нас и укроет. Женщина, месившая саман, говорила:

Каждый дом — это не только стены. Это целый мир:

Огород — картошка, морковь, репа, лук. Здесь, среди зелени, дети учились различать «своё» от «чужого».

Ток (гумно) — место, где молотили зерно. Огромные камни с выточенными зубьями крушили колосья, и звук этот — глухой, размеренный — был музыкой труда.

· Скотный двор — корова, овцы, куры. Их тепло, их запах, их покорное терпение были частью быта.

Эти камни, что молотили зерно, дожили до 1970-х годов. Они валялись по селу, забытые, но не безмолвные. Каждый, кто спотыкался о них, вспоминал: «Это ещё от отцов...»

Но вот что странно: среди привычных жерновов вдруг — камни иной формы. Не местные. Финские? Как они попали сюда?

— Это Лявон привёз. Он всё мог. Старики шептались:

Лявон — одиозная фигура. Торговец, пройдоха, человек, который знал, где взять и как продать. Говорили, он возил товары до самого Урала, а оттуда — диковинки, которых в степи не видывали.

Может, и правда он привёз эти камни? Или они пришли с переселенцами из далёких губерний? История молчит. Но камни лежат — молчаливые свидетели.

Правительство посылало продовольствие. Мешки с мукой, соль, иногда — крупу. Для переселенцев это был «царёв паёк» — нечто должное, само собой разумеющееся.

Берём, а спасибо не говорим, — вздыхала Марья Садченко. — Потому что не подарок это, а долг. Должны нам за то, что мы тут живём.

Но без этой помощи многие бы не выжили. Зима, голод, болезни — всё это было реальностью. А паёк был нитью, удерживающей людей на краю.

Сегодня в Ливановке мало кто помнит, как строили первые землянки. Но дух той эпохи жив:

в запахе глины и соломы;

в скрипе старых ворот, сбитых из казённых брёвен;

в камнях, что лежат у гумна, будто забытые слова.

К осени 1905 года стало ясно: посёлок на грани провала. Неурожай, вредители, нехватка семян — всё это грозило лишить переселенцев шанса на следующий посев. Но именно в этот момент проявилась та особая сила общины: когда беда объединяет, а не разводит в стороны.

Недостача зерна достигла критических размеров. Поля, ещё весной казавшиеся обещающими, к августу превратились в печальное зрелище:

пятая часть урожая погибла от жары;

треть посевов захватила просянка;

оставшиеся колосья обглодали мыши и черви.

Переселенцы смотрели на скудные снопы и понимали: сеять в следующем году будет нечем.

переселенческое управление начало срочные закупки зерна;

создали правление для распределения семян и орудий труда;

построили склады для хранения;

закрепили ливановцев за складом в Орске — там выдавали не только зерно, но и инвентарь.

Один из старожил, Фотий Нижник, говорил:

«Без семян — нет жизни. А без помощи — нет и семян».

Зима принесла новую угрозу — цингу. Люди слабели, дёсны кровоточили, зубы начинали шататься. Фельдшер из Кустаная объяснял:

«Это от нехватки витаминов. Нужно есть овощи, зелень. Но где их взять в степи?»

Женщины пытались варить отвары из шиповника, сушили ягоды, добавляли в похлёбку дикорастущие травы. Но этого было мало.

Как справлялись:

делились последними запасами;

варили настои из степных побегов трав;
собирали корни лопуха, которые, по слухам, помогали при слабости.

В условиях нехватки рабочего скота переселенцы обратились к местному обычаю — «майн». Суть его проста:

1. Переселенцы брали у казахов рабочий скот (лошадей, быков).
2. Взамен обрабатывали их поля — пахали, сеяли, убирали урожай.

Это был не дар, а обмен. Но он позволил выжить.

Бай Юсуп, наблюдая за работой переселенцев, говорил:

«Степь не любит ленивых. Кто трудится — тот ест».

Сначала скот у переселенцев был лишь подспорьем: корова для молока, овцы для шерсти.

Но под влиянием местных казахов они начали:

разводить лошадей — для работы в поле и перевозки грузов;

осваивать табунное содержание скота — даже зимой;

заготавливать сено, чтобы пережить бескормицу.

Один из переселенцев, Степан Белогривый, вспоминал:

«Мы думали, что степь — это земля для пашни. А оказалось — для копыт. Но если научиться слушать её, она даст всё».

Казахи переняли у переселенцев:

железные плуги и бороны;

косы и серпы;

технику сенокошения;

выращивание овощей (капусты, картофеля);

бахчеводство (арбузы, дыни).

Переселенцы научились у казахов:

табунному содержанию скота;

выбору пастбищ;

заготовке кормов на зиму;

использованию верблюдов и яков в хозяйстве.

Так, шаг за шагом, степь становилась общей землёй — не для борьбы, а для жизни.

Постепенно в обиход казахов вошли новые орудия труда:

плуги — для глубокой вспашки;

бороны — для рыхления почвы;

косы — для сенокоса;

серпы — для уборки хлебов;

тяпки и мотыги — для прополки;

кайло — для земляных работ.

Эти инструменты, поначалу казавшиеся чужими, вскоре стали привычными. Они не просто облегчали труд — они меняли образ жизни.

Год закончился. Люди огляделись:

землянки стояли, хоть и косо;

печи дымили;

дети бегали между домами;

на гумнах лежали камни для молотбы.

Но главное — люди остались. Не все. Кто-то уехал, кто-то умер. Но те, кто выдержал, знали: следующий год будет легче.

А степь молчала. Она не обещала, но и не прогоняла.

История посёлка Ливановский — это череда контрастов: успехи соседствовали с неудачами, взаимопомощь — с пагубными привычками, созидание — с расточительством. На фоне

хозяйственного становления села остро проявилась и тёмная сторона переселенческой жизни — распространение пьянства и азартных игр.

На главной улице, где пыль никогда не улеглась до конца, стоял дом под красно-коричневой черепицей — магазин Лявона. А рядом, за низкой калиткой, пряталась пивная — «гэндэлык», как звали её казахи.

По вечерам здесь пахло хмелем, потом и жареными тумарлинскими карасями. За длинными столами сидели мужики — и русские, украинцы и киргизы. Кто-то играл в кости, кто-то хрипло пел, а кто-то просто смотрел в кружку, будто пытался разглядеть в тёмной жидкости своё будущее.

Приведу. Не впервой... — Опять в долг? — спрашивал Лявон, протирая кружку. В долг, — кивал кузнец Иван. — Завтра барана приведу. А если не приведёшь?

Лявон знал: завтра Иван действительно приведёт барана. Или мешок зерна. Или пару кур. А он, Лявон, повезёт это всё на Урал — менять на водку, пиво, табак. Круг замыкался.

На окраине посёлка темнели землянки — первые жилища переселенцев. Их рыли в склонах, укрепляли дёрном, накрывали чем придётся. Внутри — печь, лавки, икона в углу.

Зато тепло, — отвечал муж, прилаживая последнюю доску к окну. — Через год саман поставим. Через два — избу с резными наличниками. — Не дом, а нора, — вздыхала Марфа, вытирая пот со лба.

И действительно: рядом уже стояли дома из самана, серые, плотные, будто вылепленные из самой степи. А дальше — каменные амбары, сложенные из плит, привезённых из Жетикары-горы. Камни были холодные на ощупь, но в них чувствовалась вечность.

Осенью Ливановка превращалась в шумное море. Со всех сторон съезжались подводы, скрипели колёса, ржали лошади.

Соль из Илецка, чистая, как слеза! — Арбузы! Сладкие, как мёд! Шкуры лисьи, мягкие, как шёлк!

Купцы из Челябинска и Троицка раскладывали ткани, чай, железные орудия. Казахи приводили табуны лошадей. Переселенцы выносили корзины с овощами, бочки с солёной рыбой.

Раньше тут только ветер гулял, — говорил он. — А теперь... Теперь и не поймёшь, кто гость, а кто хозяин. Старик Юсуп, владелец тысячи лошадей, сидел на кошке и наблюдал.

За околицей караванные тропы врезались в степь глубокими колеями. Иногда скот, сбившись с пути, уходил в бесконечную равнину.

— Барымтачи, — шептали старики, крестясь. — Скотокрады.

Пастухи с собаками обходили пастбища, но степь была велика, а люди — малы.

В посёлке жили будто бы две разные деревни:

1. Первая — та, что вставала с рассветом, пахла, сеяла, строила. Здесь дети бегали босиком по траве, женщины варили щи, а старики рассказывали истории о далёкой родине.

2. Вторая — та, что оживала с закатом, где звон кружек заглушал голоса совести. Здесь теряли последнее, а утром просыпались с пустой головой и пустым кошельком.

Но ответа не было. Только ветер, только степь, только далёкий крик птицы. Однажды кузнец Иван, проигравший в кости трёх овец, стоял у озера и смотрел на воду. Зачем? — спросил он сам себя.

В землянке у Марфы и Трофима пахло печёным хлебом и сушёной травой. Печь, сложенная из самана, держала тепло до рассвета. На широких лавках вдоль стен спали дети — трое, все как один русоволосые, с веснушчатými носами.

Соли... А детям — молока? А тебе — здоровья? — Опять в долг взял? — тихо спрашивала Марфа, помешивая щи в чугушке. Не в долг, а наперёд, — оправдывался Трофим, чиня упряжь. — Завтра отвезём зерно Лявону, он нам соли даст.

Она не ругалась — просто говорила, глядя в огонь. В её голосе не было злости, только усталость и тихая тревога.

На столе — грубая деревянная миска, ложка, кринка с молоком. В углу — икона Богородицы, прикрытая вышитым рушником. За окном — степь, бескрайняя и молчаливая.

Женщины Ливановки вставали раньше мужчин. Ганна что из Кибенец Полтавской губернии — каждое утро обходила огород: проверяла, не погрызли ли мыши капусту, не завяли ли огурцы. Потом — к корове, к курам, к печи.

Солнце едва поднялось над степью, а на площади у строящейся церкви, уже стоял гомон. Скрипели колёса телег, лаяли собаки, перекликались торговцы. Воздух пах дымом, жареным салом и свежеиспечённым хлебом — будто сама земля дышала праздником.

Два рубля, милая! Для такой красавицы — два! — Ганна, иды сюды! Глянь, яка гарна косынка! — кричала бойкая баба в цветастом платке, размахивая отрезом ситца с малиновыми цветами. Ой, хороша... А почём?

Ганна щупала ткань, прикидывала в уме: «На праздник хватит, а на будни — нет...»

Да куда там... У меня и денег-то на полплуга! Рядом мужик в залатанном армяке приценивался к граблям: Митрофан, глянь-ка! Давай сбросимся, купим один плуг на двоих? А то мой совсем развалился...

Они смеялись, но в глазах — тревога: без плуга зиму не пережить.

Васька, гляди! Петушок на палочке! Между телег и палаток носились дети. Девчонка лет пяти, в выцветшем сарафанчике, тянула за рукав брата:

Три? Ну на три — вот этот, поменьше. А на пять — вон тот, красный, с хвостом! У лотка с леденцами стоял старик-торговец, бородатый, в картузе, из-под которого торчали седые вихры. Ну что, орлы, хотите сладенького? — хрипло спрашивал он, звеня медяками в жестяной банке. Дяденька, у нас только три копейки... — взмолился Васька.

Кушайте, не подавитесь! Дети переглянулись, скинули монетки в ладонь торговца. Тот ловко насадил леденцы на палочки, протянул:

А нам? А нам?! Они убежали, облизывая петушков, а за ними — ещё трое ребятишек, уже с протянутыми руками:

В загонах блеяли бараны. Казахи в высоких шапках стояли рядом, скрестив руки, наблюдали за покупателями.

Три?! Да он тебе зимой всю семью прокормит! — Буйдак! Глянь, какой крепкий! — кричал один, хлопая барана по крутому боку. — Пять пятьдесят, и ни копейкой меньше! Да ты что, с ума сошёл? Три — и забираю!

Вокруг собирались зеваки, кто-то советовал, кто-то смеялся. В воздухе висел запах шерсти, пота и степной травы.

Лошади фыркали в стороне. Один жеребец, рыжий, с белой проточиной на лбу, бил копытом, будто требовал: «Купите меня, я — ветер!»

У мешков с зерном толпились переселенцы. Женщины в платках перебирали пшеницу, нюхали, проверяли на зуб.

Везде дорого! Приезжие цены сбивают, а потом втридорога продадут... — Мука — рубль тридцать пять, — бубнил торговец, протирая усы. — А зерно — рубль двадцать пять. Дорого... — вздохнула старуха. — А где дешевле?

Кто-то вздыхал, кто-то считал монеты, пряча их в кулак. За спиной — дети, голодные глаза.

На краю площади стояли палатки приезжих купцов. Там — всё, что душа пожелает: ситец с узорами;

ножницы, блестящие, как лёд;

чай в жестяных банках с картинками;

табак, пахнувший дымом;

сапоги, чёрные, лакированные.

Эй, красавица! — махал рукой купец в картузе. — Вот платок, как солнце! За рубль — бери, не пожалеешь!

Ганна, в цветастом платке, держала за руку пятилетнего Ваську. В другой руке — узелок с яйцами на продажу.

Потом, Васька, — отмахивалась она, высматривая покупательницу. — Сначала дело. — Мам, гляди! — тянул её сын к лотку со леденцами. — Петушок!

Да где там... Муж говорит, надо в долг брать. А я боюсь: отдадим ли? У мешков с зерном она встретила соседку: Ну что, Ганна, как плуг?

Придём, сынок. Обязательно придём. Васька всё-таки выпросил копейку — и вот уже облизывает красный петушок, пританцовывая от радости. Мам, а на следующий год опять придём?

В воздухе пахло дымом, жареным салом и надеждой.

У них — дорого, а у меня — вполтину! Вот, гляди, семена лучшие, урожай утроят! Женщины щупали ткань, сомневались. А рядом — другой торговец, с бородкой, шептал:

Но в глазах его — хитрость. Люди знали: приезжие скупают шерсть, сало, шкуры за бесценок, а потом... Потом — только долги и пустые амбары.

Когда солнце опустилось за холмы, ярмарка затихала. На земле — клочья шерсти, окурки, обрывки газет. Вдали, у костров, сидели казахи и переселенцы вместе. Варили мясо, пекли лепёшки.

Переживём, — кивал казах. — Степь — она всех кормит. — Ну что, Иван, как плуг? — спрашивал казах, протягивая кусок хлеба. Да пока без плуга... Но ничего, переживём.

Над костром поднимался дым, смешиваясь с вечерним туманом. Где-то вдали — детский смех, звон ложки о миску.

Ярмарка закончилась. Но завтра — снова работа. И снова надежда.

Здесь, среди гвалта и торга, рождалось нечто большее, чем сделки — общее пространство жизни.

Когда последние телеги покинули площадь, Ливановка ещё долго хранила следы торга:

клокья шерсти на земле;

запах дёгтя и жареного теста;

шёпот о том, кто разбогател, а кто остался с долгами.

Но главное — в людях осталось ощущение: здесь, на краю степи, они не одни. И пока есть ярмарка, есть и надежда.

Осень раскрасила Домбарскую степь в золото и медь. Бабье лето дышало тишиной, но в самом посёлке царил невообразимый гвалт: собрался общий сход ливановских селян.

На площади перед сельской управой толпились мужики в поддёвках, бабы в платках, подростки, любопытствующие у края толпы. Представитель волостной администрации Николаев тщетно пытался уговорить народ:

Граждане! Господа! Позвольте слово сказать!..

Но его голос тонул в хоре возмущённых реплик. На повестке — вопросы, от которых зависела сама жизнь посёлка:

наделение землёй вновь прибывших;

устройство школы и назначение учителей (детей в Ливановке было много);

выбор пастуха для общего стада;

рытьё новых колодцев;

приглашение фельдшера;

строительство церкви (молельный дом при управе оказался слишком мал для набожных ливановцев).

Спор разгорелся не на шутку: хоть земли кругом было в избытке, каждый хотел «свой кусок» поближе к воде или лесу. Капитан Беляев, стоявший у истоков основания посёлка, взял слово:

— Братья! Не дело это — ссориться. Земля велика, всем хватит. Давайте по справедливости: кто первым приехал — тот ближе к центру, кто нынче прибыл — чуть подальше, но с выгоном для скота. Его предложение приняли с оговорками, но без кровопролития. Хотя крики и жестикуляция ещё долго сотрясали площадь.

1.

Беляев настоял:

— Без грамоты нам никак. Дети растут — надо учить. Порешили закрепить за посёлком двух учителей из числа приезжих интеллигентов — Анну Петровну и Григория Семёновича. Бабы тут же зашептались: «Хоть бы хорошие были...»

2. Поскольку молеальный дом при управе не вмещал всех желающих, решили избрать старосту для организации строительства новой церкви. Единогласно выбрали Митрофана Липчанского — человека строгого, но справедливого. Секретарём по ведению учёта и составлению бумаг стал Иван Сиротенко, грамотный и расторопный.

о Пастухом избрали деда Прохора — он знал все пастбища до последнего кустика.

о Колодцы поручили рыть артели под началом кузнеца Гаврилы.

о Фельдшера выписали из Петропавловска — обещали прислать к зиме.

Когда солнце уже клонилось к околкам, Николаев, измученный, но довольный, объявил: — Ну, граждане, порешили. Теперь — за дело!

Толпа стала расходиться, обсуждая итоги. Кто-то ворчал, кто-то кивал, кто-то уже прикидывал, где поставит новый сарай. А над посёлком, залитым золотым светом бабьего лета, поплыл дым из труб — знак того, что жизнь продолжается.

Ливановка росла. Решения схода — порой шумные, порой спорные — закладывали фундамент будущего. Здесь учились договариваться, спорить, мириться. Здесь рождалась община — не по бумагам, а по крови, по земле, по общей нужде и общей надежде.

И когда через год на окраине посёлка заложили церковь, все знали: это не просто здание. Это — их общий дом.

При переселении государство давало крестьянам важную льготу — освобождение от налогов на три года. Этот щедрый жест открывал двери в новую жизнь, но за порогом ждала суровая реальность, полная испытаний.

На первых порах судьба словно улыбалась новосёлам: земля оказалась плодородной, щедро одаривая трудолюбивых. Особенно впечатляли урожаи:

- пшеницы;
- ржи;
- проса;
- рыжика.

Почти каждый крестьянин обзавёлся лошастью — верным помощником в поле. Летом мужчины находили подработку на сенокосах у местных баев, пополняя скудный семейный бюджет.

Июнь 1905 года. Российская империя охвачена Первой русской революцией. На фоне массовых стачек, крестьянских волнений и поражений в Русско-японской войне **взрывается и флот**.

Ключевой импульс дал броненосец «Князь Потёмкин-Таврический»: 14 июня (по старому стилю) матросы отказались есть борщ из испорченного мяса. Вспыхнуло стихийное восстание: погибли несколько офицеров, команда взяла корабль под контроль. «Потёмкин» ушёл в Одессу, затем — в румынскую Констанцу, став символом мятежа.

На этом фоне на «**Георгии Победоносце**» тоже нарастало напряжение. Экипаж видел: система трещит.

В июне 1905 года на «Георгии Победоносце» вспыхнул бунт — но он прошёл **иначе**, чем на «Потёмкине»: Матросы **не стали избивать офицеров**. Всех командиров (кроме лейтенанта Григоркова, который покончил с собой) **высадили в шлюпку**. Шлюпку взяли на буксир миноносца №267 и доставили на берег — в семи милях восточнее Одессы. Офицеры, полагая, что Одесса уже захвачена восставшими, отправились в **Николаев**.

- На корабле действовали **социал-демократические кружки**, пропагандировавшие дисциплину и отказ от мести.

- Матросы хотели **не мести, а перемен**: они требовали справедливости, а не крови.

- Экипаж понимал: убийство офицеров лишь спровоцирует жестокий ответ властей.

Среди активных участников восстания был матрос **Моисей Белоус**. Его действия:

- он выступал за **организованность** — убеждал не поддаваться эмоциям;

- участвовал в переговорах с офицерами, добиваясь их безопасной высадки;

- помогал координировать действия команды, чтобы избежать хаоса.

Цена участия оказалась высока: после подавления мятежа Белоуса **изгнали из армии**; его признали «**неблагонадёжным**» — клеймо, закрывавшее пути к службе и нормальной жизни; чтобы избежать преследований, он уехал на **Полтавщину**, где скрывался, живя под чужим именем.

- **Моисей Белоус**, несмотря на изгнание, сохранил убеждённость: он боролся за справедливость, а не за хаос.

Вот что писал Моисей :

1906 году мой отец, впервые увидев кустанайские степи, не вернулся домой. Что-то в этих просторах — может, ширь неба, может, запах полыни — зацепило его душу. Он прописался в посёлке Ливановском и написал старшему сыну:

«Всё продавай, забирай семью и приезжай в Ливановку».

В сентябре 1907-го, уволившись с флота, я тоже приехал сюда. И первое, что увидел, — **беспорядок**. Не в избах, не в укладе, а в самой земле.

Земля Ливановского участка была словно судьба переселенца — **неровная, противоречивая**:

- где-то — чернозём, щедрый, плодородный;

- а где-то — солонцы, на которых даже ковыль не растёт.

И пахали её так же неровно:

- зажиточные мужички, у кого кони да быки, захватывали лучшие полосы, пахали в 2—3 плуга;

- бедняки же, с одной клячей, едва успевали обработать клочок к осени.

Я смотрел на это и чувствовал: так жить нельзя.

На общем собрании я предложил:

«Ливановский участок в 14 590 десятин поделить на едоков. На каждого — по 7 десятин».

Идея витала в воздухе, но никто не решался сказать вслух. А я сказал.

Почему это было важно?

- Не по богатству, не по силе, а **по числу душ** — справедливо.

- Каждый получит и хорошую землю, и плохую — но в равных долях.

- Бедняки смогут сеять, зажиточные — не будут захватывать лишнее.

Предложение приняли. Но из Кустаная пришёл ответ: «*Нет землемера*».

Глухая ночь. За окном — степь, чёрная, безмолвная, лишь ветер посвистывает в щелях. В избе — тусклый свет керосиновой лампы, дым от самокруток стелется под потолком. За

грубо сколоченным столом сидят **Моисей Белоус**, **Моисей Рудовский** и семеро мужиков из Ливановки. На столе — краюха хлеба, солонка, чайник с остывшим чаем.

Белоус (стучит кулаком по столу, голос твёрдый):

— Так дело не пойдёт! Опять богатеи лучшие полосы захватят, а нам — солонцы да буераки. Сколько можно?

Рудовский (кивает, выдыхает дым):

— Верно. Надо делить **по едокам**. На каждого — по семь десятин. И хорошей земли, и плохой — в равных долях.

Мужики переглядываются. Кто-то хмыкает, кто-то чешет затылок.

Старик Архип (медленно, с сомнением):

— А как делить-то? Где твоя «равная доля»? Тут чернозём, а там — песок. Как уравнишь?

Белоус (резко):

— А так и уравнишь! Каждый хозяин получит полосу и на чернозёме, и на солонце. Чтобы никто не жил за счёт другого.

Мужик с бородой (сердито):

— Ты, Белоус, гладко говоришь. А кто пахать будет? У меня одна кляча, а у Прохора — три коня. Он и вспашет быстрее, и урожай соберёт больше. Где тут равенство?

Рудовский (спокойно, но твёрдо):

— Равенство — в праве на землю. А труд — он у каждого свой. Но земля — общая. Никто не должен жить на жирной полосе, пока сосед мрёт на солонцах.

Другой мужик (с усмешкой):

— «Общая»... А кто её мерил? Кто решит, где чья полоса? Опять чиновники приедут, да ещё и денег возьмут за это!

Белоус (вскипает):

— Чиновники?! Да они только карманы набивают! Мы сами сделаем. Рудовский и я — возьмём плуги, пройдем по полю, нарежем пять полей. В каждом — и чернозём, и солонцы. Каждому хозяину — номер. Всё по-честному.

В избе — гул голосов. Кто-то поддерживает, кто-то ворчит. Кто-то скручивает новую самокрутку, дым становится гуще.

Молодой парень (нерешительно):

— А если богатеи не согласятся? Прохор с друзьями возьмут вилы да и прогонят нас с поля...

Рудовский (твёрдо):

— Не прогонят. Нас больше. И правда — за нами. Если все вместе встанем — не посмеют.

Архип (вздыхает):

— Ох, боюсь, опять кровь прольётся... Не было бы беды.

Белоус (жёстко):

— Кровь прольётся, если молчать будем. Если опять дадим им всё захватить. А мы — по-мирному. Землю поделим, а потом — работать.

Молчание. Мужики курят, смотрят в стол. Лампа мерцает, тени пляшут на стенах.

Один из них (наконец, кивает):

— Ладно. Давай пробовать. Только чтоб без обмана.

Другой (недоверчиво):

— Если всё по-честному — я за. Но если опять нас обведут...

Белоус (перебивает):

— Обводить не будем. Каждый увидит свою полосу, каждый проверит. А если кто не согласен — пусть скажет сейчас.

Тишина. Кто-то кашляет, кто-то ворошит угли в печи.

Рудовский (подводит итог):

— Значит, завтра с утра — за плуги. Разметим пять полей. Потом — жеребьёвка. Каждому — по номеру. И чтоб ни у кого не было больше, ни у кого меньше.

Белоус (смотрит в глаза каждому):

— Кто за правду — тот с нами. Кто за жадность — пусть идёт прочь.

К утру в избе остаётся только пепел от самокруток, запах пота и табака. За окнами — рассвет. Мужики расходятся молча, но в их шагах уже нет прежней обречённости.

Они знают:

- завтра будет тяжело;
- кто-то будет ругаться;
- кто-то попытается обмануть;
- но **они начали**.

И в этом — вся суть.

Они не стали ждать. Вместе с **Моисеем Рудовским** взялись за дело.

· За полтора месяца **двумя плугами** нарезали землю на 5 полей — чтобы каждому досталась и плодородная полоса, и солончак.

- Начертили план, занумеровали каждого хозяина.
- Моисей повёз чертёж в Кустанай.

Его не утвердили. Но зато **прислали землемера** — офицера Беляева.

Он приказал старосте собрать с общества **4 тысячи рублей** за работу. Белоус с Рудовским всё сделали за **400 рублей**.

Беляев лишь провёл границы **по их бороздам**.

- Бедняки получили землю — и надежду.
- Зажиточные крестьяне вынуждены были пахать не только для себя, но и для других.
- В соседних посёлках начали делить землю **по нашему примеру**.

Так, без громких лозунгов, мы **предвосхитили то, что позже охватит всю Россию**.

Из воспоминаний Белоуса: В 1909 году я выписал журнал **«Природа и люди»**.

Это была не просто подписка — это был **ключ к миру**.

- Статьи о земле, о погоде, о семенах — всё, что нужно крестьянину.
- Но ещё — **48 книг** в приложении: русские классики, Конан Дойль, Чарльз Диккенс.

Моё жильё превратилось в **библиотеку**.

- Старухи приходили за сказками.
- Молодёжь брала романы.
- Даже те, кто едва читал, просили: *«Почитай вслух!»*

Книги согревали души так же, как печь согревала избы.

К тому времени мы с братом **зажили лучше**. Не богато, но **уверенно**.

· В 1910 году Моисей Белоус и его брат купили в Денисовке **старую маслобойню** за 300 рублей. Цехом был ветхий сарай капленный у Лявона, с деревянным прессом, чанами и ржавыми дежами. Хозяева продавали её как хлам — но братья увидели в ней **шанс**.

Что предстояло преодолеть:

- не было опыта: ни Белоус, ни брат никогда не занимались маслodelием;
- оборудование требовало ремонта: доски прогнили, механизмы скрипели, чаны текли;
- не хватало инструментов: не было термометров, фильтров, специальных ножей для сыра;

- местные скептически качали головами: *«Из молока деньги не сделаешь»*.

Но братья взялись за дело.

Как это работало:

1. **Договор с крестьянами.** Белоус обошёл дворы Ливановки и соседних посёлков. Договорился, что жители будут сдавать молоко за небольшую плату или в обмен на часть готового продукта.

2. **Строгий отбор.** Молоко проверяли на свежесть: нюхали, смотрели на цвет, пробовали на вкус. Скисшее или разбавленное не брали.

3. **Транспортировка.** Вёдра с молоком несли вручную или везли на телегах. Летом — в прохладное время, чтобы не скисло.

4. **Хранение.** Молоко сливали в большие деревянные чаны, поставленные в погреб, где было прохладно.

Трудности:

- в жару молоко скисало за часы — приходилось работать быстрее;
- крестьяне иногда пытались сдать разбавленное молоко — Белоус ввёл штрафы;
- не хватало тары — братья закупили новые вёдра и чаны на последние деньги.

Пошаговый процесс:

1. **Отстаивание.** Молоко оставляли на 12—24 часа в чанах. Сливки поднимались наверх, образуя толстый слой.

2. **Слив сливок.** Аккуратно снимали верхний слой черпаками, стараясь не захватить молоко.

3. **Созревание.** Сливки переливали в отдельные ёмкости и держали при температуре +10—12° С ещё сутки — чтобы они «созрели» и приобрели насыщенный вкус.

4. **Взбивание.** Сливки заливали в маслобойку — деревянный барабан с лопастями. Вращали ручку, пока масса не начинала густеть.

5. **Отделение масла.** Когда сливки превращались в масляные зёрна, их сливали через марлю, отжимая лишнюю жидкость (пахту).

6. **Промывка.** Масло промывали ледяной водой, чтобы удалить остатки пахты и сделать его плотнее.

7. **Формирование.** Масло выкладывали на стол, разминали руками до однородности, затем прессовали в формы.

8. **Засолка.** Для долгого хранения добавляли немного соли, тщательно перемешивая.

Первые неудачи:

- масло получалось рыхлым — не хватало опыта в температурном режиме;
- иногда оно горчило — значит, сливки перестояли;
- в жару масло быстро портилось — пришлось выкопать новый погреб с ледяной подстилкой.

Прорыв: Через три месяца Белоус нашёл **идеальную пропорцию** — выдерживал сливки ровно 18 часов при +11° С. Масло стало выходить плотным, золотистым, с ореховым ароматом.

Сыр решили делать из **оставшегося молока** (после снятия сливок) и из **цельного молока** (для более жирных сортов).

Базовый рецепт:

1. **Нагрев.** Молоко грели в медных котлах до +30—35° С.

2. **Закваска.** Добавляли сычужный фермент (сначала покупали у аптекаря, потом научились делать сами из телячьих желудков).

3. **Свертывание.** Через 30—40 минут молоко превращалось в сгусток. Его разрезали длинными ножами на кубики.

4. **Отжим.** Сгусток перекладывали в марлевые мешки, подвешивали, чтобы стекла сыворотка.

5. **Прессование.** Мешки клали под деревянный пресс, постепенно увеличивая груз.

6. **Соление.** Сыр натирали солью или выдерживали в рассоле.

7. Созревание. Головки укладывали в погреб на деревянные полки. Время созревания — от недели до трёх месяцев.

Ошибки на пути:

- сыр получался слишком кислым — не выдерживали температуру;
- иногда он плесневел — не хватало вентиляции в погребе;
- первые партии крошились — не хватало навыка в прессовании.

Открытие: Белоус заметил, что если **добавлять в сыр немного сметаны**, он становится нежнее. А если **выдерживать головки на дубовых досках**, появляется приятный древесный аромат. Зимой на Тумарле заготавливали лед, на санях возили к производственному цеху там организовали ледник. Лед был все лето. Стало меньше нарушений технологии.

К 1912 году производство набрало обороты. Белоус и брат: наняли трёх работников; купили новый пресс и медные котлы; выкопали второй погреб с регулируемой температурой.

Тогда же они вступили в **кооператив от Сибирского маслопрома**. Это дало:

- доступ к рынкам сбыта (Омск, Томск, Кустанай);
- кредиты на расширение;
- консультации специалистов (приезжали агрономы, учили тонкостям сыроварения).

Результаты:

- стали выпускать **до 10 пудов масла в неделю** (≈ 164 кг);
- освоили **три сорта сыра**: молодой, выдержанный и с травами;
- открыли точку сбыта в Ливановке — местные могли купить масло и сыр по умеренной

цене.

1. Упорство. Белоус не сдался после первых неудач. Он записывал ошибки, экспериментировал, искал способы.

2. Качество. Он жёстко следил за чистотой, свежестью молока и точностью температур.

3. Взаимопомощь. Крестьяне стали не просто поставщиками — они участвовали в процессе, делились наблюдениями.

4. Кооперация. Союз с Сибирским маслопромом дал ресурсы и знания.

- Трое наёмных работников получали стабильную зарплату.
- **Доход для крестьян.** Люди продавали молоко, а не выливали его из-за нехватки сбыта.
- **Гордость.** Ливановское масло и сыр стали известны в округе — их хвалили за чистоту

вкуса и аромат.

· **Надежда.** Успех Белоуса показал: даже в тяжёлых условиях можно построить дело, если работать честно и упорно.

Так, из старой маслобойни, проб и ошибок, бессонных ночей и веры в своё дело родилась **маленькая империя вкуса** — и она кормила Ливановку долгие годы.

А в 1912 году образовали **кооператив от Сибирского маслопрома**.

Теперь мы вырабатывали **до 10 пудов высокосортного масла в неделю**.

Что это значило?

- Дети стали ходить в новых сапогах.
- Жена купила ситцевое платье — первое за пять лет.
- В избе появилась керосиновая лампа, а не лучина.
- Мы могли дать ссуду соседу, помочь вдове.

Это был **труд**, а не милостыня. Это была **надежда**, а не мечта.

.

Ливановцы, благодаря **прогрессивным взглядам** (как позже скажут историки), **избежали кровавого передела 1917 года**. Они поделили землю **по справедливости** — и не было нужды брать чужое. Они работали — и не просили подачек. Они верили — и потому выжили.

Сегодня, глядя на поля, где колышется рожь, я думаю:

«Не всё измеряется в рублях. Главное — чтобы дети спали сытыми. Чтобы в избе горел свет. Чтобы завтра было лучше, чем вчера».

Однако не все прибывали в Ливановский ранней весной, когда ещё можно было успеть с посевами. Те, кто добирался поздней весной или даже летом, сталкивались с жестокой правдой: время упущено, а значит — впереди голод и разорение.

Некоторые семьи находили выход: снимали у старожилов 1—2 десятины уже засеянной пашни. Но для большинства путь был один — покупать хлеб до следующего урожая. И цена этой покупки оказывалась непомерно высокой.

К осени картина становилась тревожной. Переселенец, оставшийся без хлеба и без значительной части привезённых денег, оказывался на грани выживания. А впереди — зима, самая суровая пора: зимних заработков в округе почти не было; цены на продукты взвинчивались до небес; те, у кого ещё оставались запасы хлеба, нередко пользовались бедственным положением соседей, продавая зерно по завышенным ценам.

Вновь прибывшие постепенно растрачивали последние деньги. Затем наступал следующий этап — продажа скота за полцены. К началу весны хозяйство многих семей оказывалось:

- либо ослабленным, едва держащимся на плаву;
- либо полностью разорённым, без надежды на скорое восстановление.

Хозяева таких хозяйств переживали не только материальный, но и нравственный крах. Силы, с которыми они начинали новую жизнь, таяли, оставляя лишь горькое разочарование.

Не всем удавалось получить законный земельный надел. Самовольцы вынуждены были идти на поклон к местному казахскому населению, арендуя земли на невыгодных условиях. Это ставило их в беззащитное положение, делая лёгкой добычей для эксплуатации.

Так, за фасадом государственных льгот и первых обильных урожаев скрывалась суровая правда переселенческой жизни — борьба за выживание, где победа доставалась лишь самым стойким и изворотливым.

До революции Ливановка входила в состав Коломенской волости. Развитие просвещения в поселении шло постепенно, отражая общие тенденции сельской школы того времени.

1908 год — открытие одноклассной школы. Первые учителя — брат и сестра **Арсентий Акимович** и **Татьяна Акимовна Поддубновы**.

1910 год — преобразование в начальное двухклассное училище. Педагогический состав:

- Николай Ширяев;
- Максим Степанович Угнивенко;
- Илларион Авксентьевич Поддубнов.

1912 год — реорганизация в четырёхклассную школу. Старший учитель — **Николай Соларев**.

- **Одноклассные училища** (срок обучения — не менее 3 лет):

- о русский язык и чистописание;
- о арифметика;
- о закон Божий.

- **Двухклассные училища:**

- о 1-й класс — 3 года;
- о 2-й класс — 2 года.

- **Церковно-приходская школа:** основной упор на обучение чтению и письму.

Условия были скромными:

- одно помещение площадью 37 м²;
- шестиместные парты;
- поочерёдное обучение: одна группа пишет, другая — учит стоя.

Финансирование:

- зарплата учителей и учебные материалы — за счёт Министерства образования;

- плата за обучение — 50 копеек с ребёнка на содержание школы.

Духовная жизнь и противоречия

1910 год — построена бревенчатая церковь. **1912 год** — священник **Стефан Алексеевич Владыкин**.

Священник не ограничивался богослужением:

- обучал грамоте;
- организовал церковный хор;
- перед праздниками (особенно на Рождество и Пасху) вместе с хором поздравлял жителей.

Однако развитие церковно-школьного дела породило напряжённость. По законам тех лет для нужд прихода и школы выделили **120 десятин земли**:

- 99 десятин — для причта;
- 21 десятина — для школ.

Это вызвало недовольство ливановцев:

- земля казалась «отнятой» у общины;
- крестьяне, жившие в саманных домах с земляными полами, не понимали, почему церковь получает столь обширные наделы;
- многие считали, что земля должна идти на нужды крестьянских хозяйств, а не на церковные нужды.

В 1913 году в Ливановской школе обучалось **44 ученика** — в основном дети из зажиточных семей. Это отражало общую картину:

- бедные семьи часто не могли позволить себе плату за обучение;
- детям из бедных хозяйств приходилось работать, а не учиться.

В Ливановке, где школа ютилась в просторном церковном помещении, жизнь текла своим чередом — то суровая, то озорная, полная маленьких радостей среди больших забот.

В единственной классной комнате площадью 37 квадратных метров, где стояли шестиместные парты, каждый день разворачивалась привычная картина: одна группа ребят склонялась над прописями, старательно выводя буквы перьями; другая — стояла у стены, шепотом повторяя правила русского языка или таблицу умножения; кто-то, дождавшись своей очереди, торопливо стирал с доски предыдущие примеры, чтобы учитель мог написать новые.

Учитель, будь то Арсентий Акимович или Татьяна Акимовна Поддубнова, ходил между рядами, поправлял наклон пера, шептал подсказки, иногда строго стучал указкой по столу:

— Тише, дети! Кто не слушает — останется без перемены!

На уроках закона Божьего священник Стефан Алексеевич Владыкин рассказывал о святых и чудесах, а потом просил кого-нибудь из учеников пересказать услышанное. Самые бойкие тянули руки, надеясь получить похвалу, а робкие прятались за спины товарищей.

Когда раздавался звон колокола, возвещающий перемену, школа будто взрывалась гамом и топотом. Дети высыпали во двор: девочки сбивались в кучки, прыгали через скакалку или играли в «классики», нарисованные углём на утрамбованной земле; мальчики гоняли тряпичный мяч, устраивали забеги наперегонки или боролись, пока кто-нибудь не свалится в пыль; самые смелые забирались на брёвна, сложенные у строящейся церкви, и кричали оттуда, как с крепостной стены.

Иногда кто-нибудь из ребят приносил гармошку, и тогда все пускались в пляс — неуклюже, зато от души. Учительницы, выглянув в окно, улыбались, но тут же грозно хлопали ставней:

— Довольно! Пора на урок!

К закату, когда жара спадала, на площади у бревенчатой церкви собиралась молодёжь. Девушки в цветастых платках и парни в подпоясанных рубахах водили хороводы, пели частушки, смеялись.

Стефан Алексеевич, хоть и был священником, не гнал их прочь. Иногда даже присоединялся, запевая старинную песню, а его хор подхватывал многоголосием. Особенно шумно бывало перед Рождеством и Пасхой: девушки украшали церковь веточками полыни и рябины; парни помогали нести иконы во время крестного хода; после службы все вместе пили чай с пряниками, делились новостями и смеялись над шутками местного балагура.

Жизнь шла своим чередом: после школы дети бежали помогать родителям — кормить скотину, таскать воду, полоть огород; по субботам вся деревня мыла полы и стирала одежду, а потом сушила её на верёвках между избами; по воскресеньям, после службы, старики сидели на завалянках, обсуждая погоду и цены на зерно, а ребятишки гоняли голубей.

И пусть школа была тесной, а уроки — строгими, пусть дома были саманными, а полы — земляными, в этих маленьких радостях — в смехе на перемене, в плясках у церкви, в пении хора — жила та самая теплота, ради которой стоило просыпаться каждое утро.

Староста прихода **Митрофан Липчанский** пытался сгладить противоречия, решая вопросы по мере их появления, но напряжение между нуждами общины и церковно-школьными интересами сохранялось.

История школы и церкви в Ливановке начала XX века — это зеркало сельской жизни того времени: постепенное развитие образования при ограниченных ресурсах; переплетение духовного и светского начал; конфликты из-за распределения земли — ключевого ресурса для выживания крестьян.

Несмотря на трудности, школа и церковь оставались центрами просвещения и духовной жизни, формируя основу для будущего развития поселения.

В тот вечер над Ливановкой висело небо — густое, синее, с первой россыпью звёзд. На площади у бревенчатой церкви, ещё пахнущей свежей смолой, собрались парни и девушки. Кто в вышитых рубахах, кто в цветастых платках — все ждали, когда гармонист Иван Ролик растянет меха и позовёт в пляс.

Она стояла у крыльца — **Мария**, тоненькая, с русой косой до пояса. Смотрела, как парни перешучиваются, как девушки поправляют юбки, и думала: *«Опять одни частишки да „кадриль“... Скучно»*.

Но тут появился **Егор** — высокий, с озорным блеском в глазах. Он не стал толкаться в толпе, а сразу подошёл к ней:

— Чего одна? Боишься, что без кавалера останешься?

Она фыркнула:

— Не боюсь. Просто жду, когда музыка начнётся. А ты?

— А я тебя ждал.

Гармонь грянула — и площадь ожила.

Гопак до звона в ушах

Егор схватил её за руку:

— Ну, Марьянка, покажем им, как надо!

И они пошли — сначала осторожно, будто пробуя друг друга, а потом всё быстрее, всё жарче. Он — в притоптывании, в резком взмахе руки, она — в кружении, в лёгком пристукивании каблучков. Вокруг хлопали, подбадривали:

— Ой, Егор, ловок! — Марьяна, краса!

Они не видели никого. Только глаза друг друга, только дыхание, сбивающееся от пляса, только музыку, что вела их, как река.

Когда гармонь смолкла, оба стояли, раскрасневшиеся, смеющиеся, с каплями пота на висках. Егор прошептал:

— Пойдём... Туда. За церковь. Там тише.

За храмом, за незаконченной еще оградой, где кончались тропы и начиналась степь, пахло полынью — терпко, горько, пьяняще. Трава была высокой, звёзды — близкими.

Они сели на тёплый ещё камень. Марьяна поправила платок, Егор снял картуз, бросил рядом. Молчали. Только сверчки стрекотали, да где-то вдали лаяла собака.

Потом он взял её руку — осторожно, будто боялся спугнуть. Она не отняла.

— Я тебя ещё весной заметил, — сказал он. — Ты у колодца стояла, воду набирала. А я мимо шёл, так и замер.

— И я тебя видела, — улыбнулась она. — Ты с отцом брёвна возил. Такой серьёзный, будто весь мир на тебе держится.

Он рассмеялся, притянул её ближе.

— Теперь мир — вот он. В твоей руке.

И они поцеловались — впервые, робко, а потом жадно, будто пытались впитать друг друга в себя, запомнить навсегда.

Рассвет подкрался тихо. Полынь поседела от росы, звёзды растаяли. Марьяна зябко повела плечами — Егор тут же накинул ей на плечи свой пиджак.

— Холодно?

— Нет. Просто... страшно.

— Чего?

— Что это сон. Что проснусь — и тебя нет.

Он прижал её к себе:

— Я всегда буду. Даже если село сгорит, даже если все уйдут. Я — с тобой.

Она закрыла глаза. В ушах ещё звучала гармонь, перед глазами мелькали огни вечерки, а в сердце — тепло его рук, запах полыни, вкус первого поцелуя.

Они встречались у колодца, у околицы, за амбаром. Писали друг другу записки — коряво, но от души. Он дарил ей полевые цветы, она вышивала ему носовой платок.

А по вечерам, когда село засыпало, они уходили в степь — туда, где пахла полынь и светили звёзды. Там не было ни забот, ни тяжёлого труда, ни споров о наделах. Там были только они — двое, влюблённые, счастливые, уверенные, что их любовь сильнее любых бурь.

И пусть Ливановка росла трудно, пусть люди уставали, пусть зима грозила голодом — для Марьяны и Егора мир был прост и ясен: утро — с мыслями друг о друге; день — с тайными улыбками при встрече; вечер — с танцами у церкви; ночь — с шепотом в полынных зарослях.

Их любовь не решала проблем села. Но она давала им силу жить. И верить, что всё будет хорошо.

В Ливановке, где церковь становилась сердцем общины, особую роль играл **староста**. а им был Митрофан Липчанский. В его обязанности входило: собирать пожертвования; закупать и продавать свечи, церковную утварь и инвентарь; вести приходно-расходные книги; следить за порядком во время служб — особенно за соблюдением тишины.

Старосты были ключевыми фигурами при строительстве храма: без их организаторских усилий не обходилось ни одно важное дело.

Стефан Алексеевич Владыкин, священник Ливановской церкви, не раз отмечал усердие прихожан. Особенно памятным стал момент приобретения колокола:

«Колоколами жители очень довольны — их звук превзошёл всякие ожидания».

Колокол купили в магазине **Оренбургского Михаило-Архангельского Братства**. Его звон разносился над степью, созывая людей на службу, отмечая праздники и важные события. Позже, в 1920-х, когда началась борьба с религией, сельчане стали свидетелями попытки разрушить колокол. Несмотря на усилия мужчин, его не удавалось расколоть — настолько прочным он оказался. Этот эпизод остался в памяти старожилов как символ стойкости традиций.

В селе, где большинство крестьян едва умели читать, **М. Ф. Сиротенко** выделялся как человек образованный. Он: имел небольшую библиотеку; выписывал газеты и журналы; помо-

гал односельчанам составлять договоры, жалобы, письма; делился знаниями по ведению хозяйства; давал советы по лечению людей и животных.

Его дом стал местом, куда шли за советом, за новостью, за надеждой на лучшее понимание мира.

Ливановцы приспосабливались к суровым условиям степи:

- **Камыш с озера Тумарлы** стал универсальным материалом:

- о им крыли крыши;

- о изготавливали маты для утепления стен на зиму;

- о скосили зелёный камыш на корм скоту.

- **Бедняки** продолжали строить **пластовые землянки** — примитивные, но тёплые жилища из земляных пластов.

Эти навыки выживания передавались из поколения в поколение, позволяя селу держаться на плаву даже в самые трудные времена.

Постепенно в общине наметилось расслоение: зажиточные семьи могли нанять работников, запасти зерно, отправить детей в школу; бедняки едва сводили концы с концами, полагаясь на взаимопомощь и случайный заработок.

Но природные катаклизмы уравнивали всех. Особенно тяжёлыми оказались годы:

- **1909** — неурожай, первые признаки голода;

- **1911** — засуха: весна и лето прошли без дождей, почва, иссушенная с осени и промёрзшая зимой, не дала всходов. Урожай почти полностью погиб;

В 1908 году Ливановка оказалась на перекрёстке двух бедствий, словно зажатая между молотом и наковальней:

1. **Пандемия «испанки»** (вирус H1N1) — незримый убийца, охвативший мир.

2. **Токсичное зерно**, отравленное долгоносиком (*куркулио*) и грибами — тихий яд, прятаящийся в земляных ямах.

Оба врага действовали **одновременно**, усиливая смертность, превращая село в место нескончаемой скорби.

Вирус пришёл негромко — с кашлем, ломотой в костях, жаром. Но уже через день-два человек задыхался, сипел, хватал воздух, как рыба на берегу. Била по **молодым и сильным** (20—40 лет) — тем, кто пахал, сеял, кормил семьи. Вызывала **«цитокиновый шторм»**: иммунитет, пытаясь защититься, разрушал собственные лёгкие. Передавалась мгновенно в тесных избах, где жили по 10—12 человек. В одной избе за неделю умирали **отец, мать и старший сын**. В другой — **трое детей**, пока мать бегала за травами к Сиротенко. На улице — всё больше **закрытых ставен**: знак, что внутри — больные.

Священник Стефан Алексеевич Владыкин ходил по домам, читал отходную, помогал хоронить. Он говорил: «Это не кара. Это испытание. Держитесь».

Но люди не знали, как держаться.

Пока «испанка» косила взрослых, **токсичное зерно** убивало детей и стариков.

1. Зерно хранили в **земляных ямах**, обмазанных глиной.

2. Долгоносик (*куркулио*) проникал внутрь, выедал питательные вещества, оставлял испражнения.

3. Грибки размножались в повреждённом зерне, усиливая токсичность.

4. Люди мололи его, пекли хлеб, кормили детей.

5. Токсины вызывали:

- о отёки внутренних органов (живот вздувался, как барабан);

- о поражение печени и почек;

- о нарушение пищеварения (еда не усваивалась);

- о ослабление иммунитета — и вот уже «испанка» добивала тех, кто еле держался.

В результате в избе: Ребёнок стонет, дышит с хрипом. Мать в панике даёт ему отвар из шиповника — не помогает. Отец, сам едва живой от гриппа, шепчет: «Это сглаз... Надо к знахарке». А хлеб на столе — серый, с неприятным запахом — всё равно едят. Потому что другого нет.

Утро. Над селом — туман. В воздухе — запах ладана и тления.

День. По улице медленно едут **четыре брички** с гробами. В каждой — по покойнику. Первая: семья Петровых — отец, мать, двое детей. Вторая: старуха Агафья и её внучка. Третья: трое парней, работавших на сенокосе. Четвёртая: одинокий старик, которого никто не успел похоронить вовремя — теперь везут скопом.

На кладбище уже **очередь**. Земля рыхлая, кресты стоят тесно. Женщины рыдают, мужчины молча копают новые ямы.

Вечер. В избах горят лампадки. Матери шепчут имена умерших детей. Кто-то бьётся головой о стену. Кто-то просто сидит, уставившись в пустоту.

Над селом — **тишина**. Не та, что бывает ночью, а другая — тяжёлая, как свинцовая туча. Это тишина горя, которое не выразить словами.

Люди не понимали, что с ними происходит. Для них это были: «кара небесная»; «сглаз»; «простуда»; «голод».

Не знали: о вирусе, который передаётся по воздуху; о токсинах в зерне; о грибках, усиливающих отравление; о том, что **отёки** — не от голода, а от отравления.

Что пытались делать? Молились. Окуривали избы полыньёю. Пили отвары из трав. Зашивали в ладанки заговоры. Кто-то бежал в степь, надеясь «пересидеть» беду.

Но болезнь и яд были сильнее.

VI. «Куркуль»: слово, ставшее проклятием

Слово «**куркуль**» сначала означало **жучка-долгоносика**. Но вскоре оно перешло на людей: тех, кто прятал зерно в ямах; кто копил запасы; кто боялся делиться, потому что сам жил в страхе.

Сначала — просто обвинение в жадности. Потом — **клеймо**.

— Он куркуль! У него зерно есть, а он не продаёт!

Люди не знали, что зерно уже отравлено. Не знали, что прятать его — не корысть, а отчаяние. Но слово осталось — как память о страхе и недоверии.

Только в **1946 году** учёные доказали: Долгоносик не просто портит зерно — он делает его **ядовитым**. Грибки в повреждённом зерне усиливают токсичность в десятки раз. Отравление приводит к **полиорганной недостаточности**, а не к голоду. «Испанка» убивала не сама по себе — она **синергировала** с другими факторами: недоеданием, отравлением, скученностью.

Но было уже поздно.

Ливановка давно пережила ту трагедию. Но память о ней осталась: в старых фотографиях с опухшими детьми; в крестах на кладбище, стоящих так тесно, будто солдаты в строю; в слове «куркуль», которое когда-то означало жучка, а потом — боль целого села.

Выжившие научились: строить **амбары с вентиляцией**; проверять зерно перед хранением; не хранить запасы в земляных ямах; делиться знаниями, а не подозрениями.

А ещё — **помнить**.

Потому что беда приходит тихо. Она может быть в: дыхании соседа; кусочке хлеба; капле воды.

И только **знание** — единственный щит против невидимого врага.

Перед нами — сухие, безжалостно точные строки метрических книг. В них нет плача, нет слёз, нет описания опухших детских лиц и матерей, застывших у печи. Только факты. Но именно эта бесстрастная фиксация превращает частную боль в **историческую трагедию** села.

Фрагменты скорбной летописи

1. Журный Пётр Остапович

о Событие: смерть дочери.

о Имя: Евгения.

о Дата: 7 июля 1906 года.

о Возраст: ½ года.

Одна строка — и целая жизнь, не успевшая начаться. Ни причин, ни подробностей. Только дата и цифра, от которой сжимается сердце.

2. Журный Иван Петрович

о Событие: рождение дочери.

о Имя: Варвара.

о Дата: 4 декабря 1907 года.

о Супруга: Анастасия Григорьевна.

Рождение — редкий луч света в тёмном году. Но сколько таких лучей погаснет через месяцы и годы?

3. Журный Яков Петрович

о Событие: рождение дочери.

о Имя: Наталья.

о Дата: 11 июля 1909 года.

о Супруга: Татьяна Григорьевна.

Ещё одна надежда. Ещё одна судьба, вплетённая в судьбу села.

«Великое бедствие»: цифры, от которых холодеет душа

За три года (1906—1909) в Ливановке умерло более **130 человек**. Для села проходящего период становления это много..даже очень много.

Это не просто статистика. Это:

- **130 закрытых глаз** — детских, женских, мужских;
- **130 молчащих ртов**, не успевших сказать последнее слово;
- **130 опустевших мест** за столом, в избе, в поле;
- **130 разбитых сердец** — матерей, отцов, жён, братьев.

Что стояло за этими цифрами?

о **Детские смерти** — самые частые. Организмы, не окрепшие, не способные противостоять: токсичному зерну; вирусной инфекции; нехватке пищи и лекарств.

о **Женские смерти** — от истощения, от горя, от непосильного труда: носить воду; топить печь; ухаживать за больными; пытаться спасти хоть что-то из рушащегося мира.

о **Мужские смерти** — от болезней, от изнурения, от отчаяния: пахать землю, которая не даёт урожая; смотреть, как умирают дети; понимать, что ты бессилен.

Молчание документов — крик истории

Метрические книги не рассказывают, **как** умирали. Но мы можем представить:

- как мать качает на руках младенца, а его дыхание становится всё тише;
- как отец, вернувшись с поля, находит жену бездыханной у печи;
- как в избе становится всё больше закрытых ставен — знак, что там уже никто не ждёт рассвета.

Они не пишут, **что** чувствовали люди. Но мы знаем:

- страх — когда очередной кашель звучит в соседней избе;
- вину — «почему я жив, а они мертвы?»;
- отчаяние — когда хоронишь третьего ребёнка за год;
- усталость — когда каждое утро приходится вставать и жить дальше.

Память, которую нельзя стереть

Эти строки — не просто архив. Это **памятник** тем, кто:

- родился и умер в Ливановке;

- любил и страдал;
- боролся и сдавался;
- оставил после себя только дату и имя — но не исчез бесследно.

И пока мы читаем эти записи, пока помним, **они живы** — в нашей памяти, в истории села, в тишине, которая звучит громче любых слов.

«Здесь покоятся те, кого мы не забыли. Здесь молчат те, кто когда-то кричал от боли. Здесь живут те, кто стал землёй Ливановки».

К 1912 году угроза голода стала реальной. Люди были вынуждены: резать скот, чтобы не потерять всё сразу; продавать последнее имущество; уходить на заработки в соседние сёла или города.

Эпидемии, вызванные недоеданием и ослабленным иммунитетом, уносили жизни стариков и детей.

Несмотря на лишения, Ливановка не исчезла. Люди держались за землю, за церковь, за соседскую поддержку. Колокольный звон, даже в годы гонений, напоминал:

«Мы здесь. Мы живы. Мы — Ливановка».

И в этом Жизнь в Ливановке в начале XX века была тесно связана с земледелием, бытовым укладом и взаимопомощью. Семья Журных, как и другие жители села, сталкивалась с трудностями, но находила силы держаться благодаря традициям, поддержке общины и простым радостям повседневности.

Представьте избу на окраине Ливановки — не новую, но крепкую, с покатой крышей, крытой камышом. Здесь, среди простых вещей и привычных звуков, течёт жизнь семьи Журных.

Рассвет пробивается сквозь щели ставен. Первым встаёт **Пётр Остапович** — тихо, чтобы не разбудить остальных. Натягивает портки, рубаху, выходит во двор. Слышно, как он поит лошадей, бросает зерно курам, проверяет упряжь. В воздухе — запах прелой соломы и утренней свежести.

В избе просыпается **жена**. Топит печь, ставит чугунок с кашей, наливает воду в деревянный таз для умывания. Дети — Ваня, Мотя и младшая Алёнка — ворочаются на полатах, ноют: «Ещё пять минут...». Мать улыбается:

— Вставайте, сони! Отец уже скотину обиходит, а вы всё спите.

За столом — хлеб, молоко, варёная картошка. Разговоры короткие: Пётр Остапович прикидывает, сколько возов сена нужно вывезти на покос; жена вспоминает, что надо занести в амбар последние мешки с зерном; дети просят взять их с собой на реку после обеда.

Пётр уходит в поле. В руках — коса, за поясом — точильный камень. Дорога пыльная, вдоль неё — колышутся колосья. Он идёт, приглядывается: не появилась ли ржавчина, не сохнет ли край поля. В голове — подсчёты: хватит ли зерна до нового урожая, удастся ли поменять у кузнеца сломанный лемех.

Жена остаётся в избе. Сегодня — стирка. Таскает воду из колодца, кипятит щёлок, трёт рубахи на ребристой доске. Пот катится по вискам, но она не останавливается — надо успеть до вечера, пока не вернулись дети. Между делом заглядывает в огород: морковь подросла, свёкла требует прополки.

Дети — кто постарше — помогают матери: носят дрова, кормят кур, гоняют гусей. Младшие — Алёнка и Мотя — играют у крыльца: строят «избу» из щепок, кормят воображаемых цыплят. Время от времени мать окликает:

— Не уходите далеко! И не лезьте к колодцу!

В полдень — перерыв. Семья собирается под навесом, ест хлеб с луком и огурцами. Пётр Остапович курит трубку, глядя на небо:

— К вечеру тучки, может, дождь пойдёт. Надо успеть сено убрать.

Солнце опускается за степь. Пётр возвращается с поля — усталый, но довольный: успел скосить полосу. Жена подаёт ему ковш воды, он пьёт, шумно выдыхает:

— Хорошо-то как...

Дети бегают по двору, загоняют кур в курятник. Мать зажигает лампу — в избе становится тепло и уютно. На столе — варёная картошка с салом, квашеная капуста. Все садятся, крестятся, начинают есть.

После ужина — дела: Пётр чинит упряжь; жена шьёт рубаху младшему; старшие дети моют посуду; младшие, уже разморенные, укладываются на полатах.

Кто-то из детей просит:

— Папа, расскажи, как ты в город ездил...

Пётр откладывает нож, улыбается:

— Ну, слушайте...

И пока он рассказывает о ярмарке, о купцах, о больших домах, в избе тихо, только лампадка мерцает да сверчок стрекочет за печкой.

Когда все засыпают, жена встаёт проверить печь — не погасла ли. Проходит по избе: поправляет одеяло на детях; целует мужа в висок; смотрит в окно — на звёзды, на тёмную степь.

Мысли — негромкие:

«Завтра будет новый день. И мы справимся».

Она ложится, прижимается к мужу, и в тишине слышно только их дыхание — ровное, спокойное

В апреле 1910-го Ливановка напоминала раненого зверя — тихо стонала, но ещё держалась. В избе старосты **Липчанского** пахло дымом и сыростью. На грубо сколоченном столе — лист бумаги, чернильница, перо. Он писал телеграмму **депутату Государственной думы Т. Белоусову**, выбирая слова так, будто взвешивал их на ладони:

«Домохозяев 180. Наличность схода — 125. Поля обсеменить нечем. Есть нечего. Ссуда проедена зимой. Тиф, цинга. Если семена не выйдут, поля останутся незасеянными, народ обречён на гибель. Многие собираются уходить обратно...»

Каждое слово — как гвоздь. Каждое предложение — как удар в набат.

· **Пустые амбары.** Зерно, что хранили в земляных ямах, либо сгнило, либо было съедено долгоносиком.

· **Болезни.** Тиф косил взрослых, цинга превращала детей в тени — их дёсны кровоточили, зубы выпадали, ноги опухали.

· **Отчаяние.** Люди ели лебеду, варили корни лопуха. Некоторые уже продавали последние вещи, чтобы купить мешок муки.

· **Страх перед будущим.** Если не засеять поля — следующей весной не будет хлеба. Совсем.

Липчанский подписал телеграмму, сложил лист втрое, отдал гонцу. Тот вскочил на коня — и поскакал к станции. Оставалось ждать. Но в глазах старосты уже читалось: «*Не ответят*».

В том же году в редакцию журнала «*Сибирские вопросы*» пришло письмо от безымянного ливановца. Оно было написано неровным почерком, чернилами, которые то и дело растекались — то ли от слёз, то ли от дрожащей руки.

Письмо депутату Государственной думы России Т. Белоусову от анонимного переселенца. Исходя из того, что в начале 1910 года Митрофан Липчанский отправлял уже телеграмму о ситуации в Ливановке почти подобного содержания в адрес Тимофея Осиповича Белоусова, то нет сомнений, что это письмо от него, хотя обратного адреса не указано. По почтовому штемпелю можно судить, что отправлено письмо из Кустаная 19 декабря 1910 года.

«От шё, г. Белоусов, прыймайте слёзы от малороссов, знайте: чым богаты, тым и рады. На слёзы богаты — слёзы й шлем, а от вас помощи всэ ждём.

Ось ще, г-н Белоусов! Нужда нас заставляе бросатця на вси стороны, тай ны видкиль помощи ны мае.

Подумайте... На ще воно так у свити робыця? За ще нас надумали ризать без ножа? За ще нас началы пырысылять у цю Сибирь? Нехай бы мы вже там пропадали з голоду — то, може, пропали, та ны вси. А тут прыходыця всим до одного здыхать из голоду и мерзнуть от холоду.

Стою я коло своей хатыны. Дывлюсь: иде женьщина, так собы лит 30-ти, и так здорову одита, шо мини аж страшно зробылось. Мороз — 25 градусов, а вона в одний холодной кох-точки, и накнулась платком, и в одних чырывычках, та ще и на босу ногу — й вона вся аж посынила. Війшла вона в хату мою, я за нею тож у хату...

Дывлюсь: вона плаче и вся трусыця. Як на ножки дывлючись ейи, и я заплакав. Тай хтоб ны заплакав, дывлючись на ту женьщину? Кажыця, самый лютый звірюга и той бы сжалився над нею...

Ох, як бы, Господы, на землю хочь на мынуту ты зійшов... И ты бы побачив, як голодный страдае, обманутый тут, бидный люд... И скильки ран вин нэсе в серци, як слёзы гирки тут тычуть...

То сам кровьянымы слезами, Наш Бог, заплакал бы тогда.

Эге! Став я пытать ту женьщину, хто вона и видкиль. Колы вона здалька аж од нашего пидселка — 15 вёрст. И прійшла вона гола и боса просыть кусочек хлиба: ны хочиця-ж з голоду умирать.

Та и просыть то прійшла до таких же, як вона, которі тож биз хлиба.

Одигрилась вона трохи в моей хати, та и начала рассказывать свою радисть...

«Человик, каже, у мене гарный мастер, та бачь, тут нымае дила... Так вин нас бросыв, а сам пишов у г. Кустанай, може, чы на встряне де робыты. А я, каже, осталась оцэ с 5 дитками, вси маленьки, один грудной. И вже, каже, двое суток тут ходю уже, и груди пухлы, ще никому сосать, та й дытынка, мабуть, з голоду опухла...»

А есть уже и в другом пидселку 120 душ заболили голодным тифом. И мини так страшно зделалось! Думаю я: це-ж, як изъзым я свои 20 пудов муки, той мини тоже буде!..

Як пырысылялы нас сюда, так обищалы нам давать и лису для постройки, и по 160 рублей на семью помоществования, а теперь ныма цего нычыго.

Що було дома, так попродалы, а пока доихалы сюда, той потратылы. А теперь де нам ще брать?

Пойдыма до цих... чыновников... Та по двое суток стоймо коло его хаты. А вин после выйде, та и каже: «Де я вам визьму, мені не дают...»

А я де визьму!.. Оце и худчше!..

Ще же мы-то теперь будем робыть?.. Чы нам пастись на цій степы, так ій снігом занысло, а копытив у нас нымае, як у кыргысских конів?

В Чемындовский пидселок сталы було просить у переселенческого начальныка, щоб дав йм хотя по сотни помоществованія. Так их осенью чаловик 18 забралы, та нызвисно куда задили.

За помощу нидокого кыдаця, бо воны оци паны ще тут вси як одын... Потом. Столпотворенія пры нас ны було, а языка нашего ны понымают... Мы просым хлиба, а нам далы камень...

А прислухайся за Думу, та там по цилой ныдили думают: яким судом судыть — чы волостным, чы таким нас нынадо судыть? Мы с Сибирь и без суда зайшлы...

Мабуть, прыйдетыця со всим з дитками йхать до главных переселенческих начальныков, та замерзатъ у их у двори, на их глазах. Може, кому и ныдадут здохнуть... Ныма нам никакой пособки! Боже наш, защё нас так оставив, щё прыходыця хоть сам сабе йшь?

Так оце мы, г-н Белоусов, по слухам чуим, щё вы всё-таки человек с душой... Похлопочите и об нас, бидных, хочь трохи... Надумайте там заглянуть до нас, поскорить, то може таке ны всим прыйдыця выздыхать...

Укажите оцим... панам, як тут надо распоряжация...

Може, ци можно у газетку, ще-бы вси знали, що тут робыця, ще-б хочь други сюда вже ныйхалы погыбать».

- **Разочарование.** Обещания — лес, деньги, помощь — остались на бумаге.

- **Унижение.** Люди сутками стояли у дверей чиновников, просили, умоляли — а в ответ слышали: «*Нечем помочь*».

- **Безысходность.** Даже если дойти до «главных начальников», кто знает — не прогонят ли? Не скажут ли: «*Сами виноваты, что сюда приехали?*»

- **Страх за детей.** Матери смотрели на худые лица своих малышей и понимали: если не будет хлеба, не будет и завтра.

Письмо опубликовали. Кто-то прочёл, вздохнул, отложил. А в Ливановке продолжали умирать.

В канцелярии волостного правления пахло чернилами и старой бумагой. **Савва Сазанович Чепкий** стоял у стола, держа в руках перо. Перед ним лежал документ:

«Я, нижеподписавшийся житель Ливановского посёлка Коломенской волости Савва Сазанович Чепкий, отказываюсь от зачисленных за мной 2-х земельных наделов и обязуюсь вернуть 10 рублей, полученные мной от Красного Креста. Причина — желание вернуться на Родину, в Подольскую губернию».

Он поставил подпись. Буквы дрожали.

Что привело его к этому решению?

- **Неудачный посев.** Два года подряд град уничтожал урожай.

- **Долги.** Он брал ссуды, продавал скотину, но всё равно не мог свести концы с концами.

- **Тоска по дому.** По ночам он видел во сне родные поля, реку, хату с соломенной крышей. Здесь же — чужая земля, чужой ветер, чужие лица.

- **Усталость.** Он больше не верил, что когда-нибудь сможет встать на ноги.

Савва вышел из канцелярии, вдохнул запах степи. Где-то вдаль блеснула река — такая же, как та, что текла у него на родине. Он знал: впереди — долгий путь, голод, холод. Но это был **его выбор**.

Июньским вечером 1914-го в Ливановке случилась беда.

На окраине, за огородом, под старой берёзой, нашли **Анну Тимофеевну Роспанцеву**. Ей было 16 лет.

Никто не знал, почему она решила уйти.

Может быть, потому что...

- **Она устала.** Работа от зари до зари — в поле, дома, у чужих людей.

- **Её никто не понимал.** Мать говорила: «*Терпи, девка, все так живут*». Отец молчал. Подруги смеялись над её мечтами.

- **Любовь не сложилась.** Может, парень, которого она любила, выбрал другую. Или просто не замечал её.

- **Мир казался несправедливым.** Она родилась в бедной семье, никогда не видела города, не носила нарядных платьев. Всё, что её ждало впереди — тяжёлый труд и замужество без любви.

Похоронили её на краю кладбища. Мать плакала, отец стоял молча. А соседи шептали: — Молодая... Зачем?

Но ответа не было.

К 1914 году Ливановка разделилась на **два лагеря**:

1. **Бедняки** — большинство.

- о Их избы ветшали, крыши текли.

- о Дети ходили в залатанной одежде.

- о Они брали ссуды, работали на зажиточных, но всё равно едва выживали.

о В их глазах — усталость, злоба, зависть: «*Почему им всё, а нам — ничего?*»

2. **Зажиточные крестьяне** — меньшинство, но власть имущие.

о У них — крепкие амбары, сытая скотина, новые плуги.

о Они давали деньги в долг под проценты, нанимали работников, скупали земли.

о Они говорили: «*Надо трудиться, а не ныть*».

Как это проявлялось?

· На сходе зажиточные всегда имели последнее слово.

· Бедняки просили помощи — им отказывали: «*Сами виноваты*».

· Дети богатых ходили в школу, дети бедных — пасли овец.

· По праздникам зажиточные накрывали столы, бедняки слушали музыку из-за забора.

И в этом расколе уже зрела будущая беда.

Злоба копилась, как гроза. Зависть тлела, как тлеющий костёр. И когда-нибудь — скоро — она вспыхнет.

В 1914 году мир рухнул — словно подрубленное дерево. Пришла **первая мировая**. Восточки докатывались до Ливановки медленно: сначала слухи на сходе, потом — официальные листы, а следом — первые **повестки**.

Мужиков собирали в уездном городе **Троицке**. Со всей волости — десятки подвод, плач жён и матерей, скрип колёс по пыльной дороге.

Моисей тоже явился по повестке. Стоял в строю, ждал команды. Но офицер, пробежав глазами по спискам, бросил коротко:

— Этот — не идёт. Политически неблагонадёжный.

Белоуса отстранили. Не взяли.

Из Ливановки на фронт ушли **больше тридцати мужиков**. Крепкие, работающие, те, кто пахал, строил, смеялся у костров.

Среди них — **Моисей и Даниил Рудовские**, мои лучшие друзья, братья. С которыми белоус вместе делили хлеб, спорили о земле, мечтали о будущем. Теперь они — в шинелях, с винтовками, где-то под Львовом или на Немане.

Сначала приходили **письма** — неровные строчки, выведенные карандашом в окопе: «Тут грязь по колено...», «Кормят худо...», «Жду весны, чтобы вернуться».

Потом — **молчание**.

А затем — **похоронки**.

Как это было:

1. **Почтальон** появлялся в деревне раз в две-три недели. Его встречали у колодца, у правления, у церкви.

2. **Он доставал бумаги** — и по лицам читалось: кому радость, кому горе.

3. **Если письмо — от командования**, женщины бледнели.

4. **Читали вслух** — на улице, при свидетелях. Чтобы не было ошибки, чтобы не осталось сомнений.

Первой пришла **похоронка на Моисея Рудовского**.

«Пал смертью храбрых в бою у деревни К....»

Его жена, Марья, стояла у ворот, держала в руках серый листок и шептала:

— Не верю. Он вернётся.

Но он не вернулся.

Через месяц — **извещение о пропавшем без вести Данииле**.

«В ходе боя у высоты 123... часть роты отрезана, дальнейшая судьба неизвестна».

Его мать перестала выходить из дома. Сидела у окна, смотрела на дорогу. Ждала.

Война выкачала из деревни **силу**. Остались:

· вдовы;

· дети без отцов;

- пустые дворы;
- непаханные полосы — некому было сеять.

А ещё — злость. Не на немцев, не на царя — на **непонимание**.

- Зачем эта война?
- Кому она нужна?
- Почему наши мужики лежат в чужой земле, а в Кустанае чиновники пьют чай и обсуждают «победы»?

Белоус не был на фронте. Но **война пришла и ко нему**:

- в ночных кошмарах о Моисее и Данииле;
- в молчании жён, которые смотрели на меня с укором: «Ты-то цел...»;
- в пустоте, которая осталась после их ухода.

Он пытался **работать**:

- помогал в маслобойне;
- чинил крыши тем, чьи мужья не вернулись;
- собирал детей, чтобы учить их читать — потому что иначе зачем жить?

Но каждый вечер, глядя на звёзды, я спрашивал:

«Почему они, а не я?»

И не находил ответа.

Сегодня, спустя годы, он пишет это — чтобы **не забыли**.

- Моисей Рудовский — не просто «погибший солдат». Он был другом, отцом, мечтателем.
- Даниил Рудовский — не «пропавший без вести». Он был братом, смельчаком, тем, кто верил в справедливость.

- И все ливановцы, чьи имена теперь лишь на крестах у дороги, — они были **живыми**.

Их нет. Но их **память** — это то, что держит нас на этой земле.

И пока мы живы, мы будем помнить.

После событий 1917 года Ливановка, в отличие от многих других населённых пунктов, избежала острых потрясений: земля здесь была поделена ещё до Октябрьской революции, и радикальных столкновений на почве передела собственности не возникло. Однако с началом Гражданской войны село оказалось в эпицентре хаоса, переживая череду смен власти и бесчинств вооружённых отрядов.

В период с 1918 по 1922 год Ливановка неоднократно переходила из рук в руки:

- под контроль **красных** — отрядов Рабоче-крестьянской Красной армии;
- под власть **белых** — частей Вооружённых сил Юга России или Сибирской армии;
- во «владение» **зелёных** — вооружённых формирований, состоявших преимущественно из дезертиров и крестьян, отвергавших любую централизованную власть.

Каждая новая власть предъявляла селянам одинаковые требования:

- предоставить фураж и продовольствие;
- выделить лошадей и повозки;
- обеспечить ночлег и обслуживание бойцов.

Отказ или недостаточная поспешность в исполнении приказов карались жестоко.

Вооружённые отряды действовали по отработанной схеме, изымая у крестьян жизненно необходимые запасы:

Объекты изъятия:

- **зерно** — выгребали из амбаров, нередко захватывали ещё не обмолоченный урожай;
- **скот** — уводили коров, быков, овец; часть забивали на месте;
- **фураж** — сено, солому, овёс, без которых невозможно было содержать оставшуюся живность;
- **предметы обихода** — кожаную обувь, полушубки, полотна;

· **сельхозинвентарь** — плуги, бороны, косы, лишая крестьян возможности вести хозяйство.

Механизм реквизиции:

1. Отряд входил в село, командир вызывал старосту или сразу направлял бойцов по дворам.

2. Солдаты вскрывали амбары, загоны, обыскивали хаты.

3. Хозяев принуждали указывать места хранения скрытых запасов.

4. При сопротивлении применяли физическое воздействие — удары прикладами, порку.

5. В случаях упорного неповиновения — расстреливали или казнили иным способом «в назидание прочим».

Типичный эпизод: у вдовы Петровой отобрали последнюю корову. Её мольбы о пощаде («Сыночки мои на войне погибли! Чем детей кормить?!») остались без ответа: «Не наша забота. Приказ — изымать».

Каждая власть проводила собственные мобилизации, вырывая мужчин из хозяйств:

· составляли списки пригодных к службе (18—45 лет);

· хватали потенциальных рекрутов на улицах, во дворах, в поле;

· давали не более часа на сборы, зачастую лишая возможности проститься с семьёй;

· беглецов преследовали, наказывали поркой, иногда расстреливали «для острастки».

Причины уклонения от мобилизации:

· усталость от войны и нежелание сражаться ни за красных, ни за белых;

· страх гибели или увечья;

· опасение, что семью начнут преследовать в отместку.

Всего в версте от Ливановки простирались болота Тумарлы, заросшие густым камышом. Именно там селяне находили временное убежище:

Кто скрывался: семьи, лишившиеся скота и запасов; мужчины, избегавшие мобилизации; вдовы с детьми, опасавшиеся насилия; старики, уносившие последние съестные припасы.

Условия существования:

· рыли землянки в кочках, укрывали их камышом;

· питались рыбой, кореньями;

· добывали воду из болот, процеживая через ткань;

· разводили костры лишь по ночам, маскируя дым;

· организовывали дежурства для раннего обнаружения опасности.

Риски пребывания в болотах: укусы змей, болотные лихорадки; хронический голод (зимой выживание в камышах было практически невозможно); столкновения с мародёрами и бандами, грабившими даже прячущихся.

Пример выживания: семья Очереднюк провела в болотах три месяца. Жена и дети спали на подстилках из камыша; муж ночами ловил рыбу. Когда «зелёные» начали прочёсывать камыш, семья затаилась в воде, держась за кочки, пока солдаты не ушли.

В мае 1919-го через Ливановку прошёл отряд казаков атамана Дутова. Требования были стандартными: провиант и лошади. Староста указал на Тимофея Бабакова зная что он направлен командиром продотряда В.М Чикмаревым (будущим начальником Чукотки, кто помнит этот фильм) — у него ещё сохранялись пара быков и запас зерна.

Тимофей отказался отдать последнее, заявив: «У меня пятеро детей! Чем их кормить?» Его схватили; вместе с ним задержали Прокопия Фугу, попытавшегося вступить, и еще двоих проотрядовцев, был пятый брат Павла Фуги он успел скрыться.

1. Осуждённых поставили у околицы.

2. Сначала расстреляли.

3. Затем, в назидание остальным, изрубили шашками.

4. Тела оставили на дороге.

- семья Бабакова осталась без кормильца; дети вынуждены были просить хлеба;
- в селе неделю после казни не зажигали огни после заката — из страха мести;
- на сельском кладбище появился памятник павшим в Гражданскую войну с четырьмя фамилиями (имена ещё двоих погибших так и не удалось восстановить).

К завершению активных боевых действий Ливановка представляла собой удручающую картину:

- из 250 дворов 15 стояли пустыми;
- поголовье скота сократилось втрое;
- посевные площади уменьшились на 60%;
- амбары зияли дырами — не изъятые реквизицией сгнили без присмотра.

Однако селяне находили силы для выживания:

- делились последним с соседями;
- восстанавливали инвентарь из обломков;
- сеяли, даже если зерна хватало лишь на четверть поля;
- хоронили павших и устанавливали кресты у дороги.

К концу первого десятилетия XX века Ливановка окрепла:

- крестьянские хозяйства стали устойчивее;
- торговля связала село с городами Урала и Сибири;
- население росло.

29 сентября 1919 года — знаковая дата: Ливановка получила статус **волости** (самостоятельного сельского округа). Перепись зафиксировала:

- всего жителей — **1 394 человека**;
- мужчин — **738**;
- женщин — **656**.

Это означало: село перестало быть «временным поселением» — оно стало **домом**.

Спустя годы следы Гражданской войны всё ещё читаются в ландшафте и судьбах: камыши Тумарлы шумят на ветру, храня молчание о спрятавшихся в них; серый камень на кладбище несёт четыре имени; в избах стоят те же столы, за которыми сидели Тимофей и Прокопий; дети, не знающие ужасов войны, интуитивно чувствуют: здесь было больно.

Ливановка выжила, но цена этого выживания запечатлена в каждом молчании, в каждом кресте, в каждом камыше.

К концу 1918 года Ливановка словно затаилась. Перестали звучать перебранки между «хохлацкой» и «кацапской» улицами — некогда извечная рознь утихла, будто её смыло общей бедой. Даже аульные казахи из-за Тумарлы и Аксакала перестали травить скотом посевы: война уравнила всех.

Разговор у колодца (осень 1918 г.): — *Слышь, Иван, а где твой старший? Всё ещё в камышах сидит?* — *Да, с женой и ребятишками. Как казаки пройдут — так и прячутся. А ты своих куда деваешь?* — *В погреб. Там и зимуют, поди. Эх, брат... Раньше за слово «хохол» дрались, а теперь вместе хлеб делим.* — *Война — она всех умней делает. Кто жив останется — тот и поймёт, что ссориться было глупо.*

В ноябре 1919 года **Моисей Белоус** вернулся из Кустаная с партбилетом. Его встретили настороженно: — *Ты что, Моисей, с красными связался? А если белые вернутся?* — спросил старик Архип. — *А если красные останутся?* — ответил Белоус. — *Надо строить новую жизнь. Кто, если не мы?*

На первом собрании в избе старосты записались **16 ливановцев**.

Диалог на собрании: — *Почему «Красный фонарь»?* — спросил кто-то из угла. — *Потому что он светит в темноте,* — объяснил Белоус. — *Мы как этот фонарь: будем освещать путь тем, кто заблудился.* — *А кто руководить будет?* — Секретарём — *Фотия Ниж-*

ника. В ревком — Нагорного. Я — координатор коммуны. — Да у нас в каждом дворе по Моисею! — засмеялись мужики. — Можно Ливановку в Моисеевку переименовать!

1 мая 1920 года коммуна официально заявила о себе. На площади перед старой школой собрались все жители. Белоус поднял красное полотнище:

— Сегодня мы объединяем не только орудия и скот — мы объединяем судьбы. Кто с нами?

Что сделали:

1. **Сложили инвентарь** — плуги, бороны, косы — в общий сарай.

2. **Перевели скот** в общее стадо: коровы, быки, овцы.

3. **Собрали семена** в общий амбар.

4. **Организовали столовую** — хлеб ели из общего котла.

Разговор в столовой: — А как делить будем? — спросила молодая баба Марья. — Поровну. И тем, кто пашет, и тем, кто детей нянчит, — ответил Белоус. — Кто не работает — тот не ест. Но кто работает — получит свою долю. — А если кто украдёт? — Украдёт — выгоним. Но сначала дадим шанс исправиться.

Дела пошли на лад. Уже к осени 1920 года в Ливановку потянулись крестьяне из **Тавриченки, Антоновки, Адаевки, Бердинки**.

Сцена на въезде в село: — Мы из Адаевки. У нас всё забрали, дома сожгли. Можно к вам? — спросил мужчина с детьми. — Можно. Но работай. И правила наши соблюдай, — строго ответил Белоус. — Какие правила? — Один за всех, все за одного. И никаких «моё» — только «наше».

Проблема: земельные наделы оставались разбросанными — их не объединяли, чтобы не нарушить землеустройство общины.

Чтобы решить вопрос с землёй, Белоус выхлопотал разрешение на переезд части коммуны на **Опытное поле** близ Львовки. Это были хорошие, плодородные земли, уже тогда принадлежавшие государству.

— Бросаем родные хаты? — вздыхали старухи. — Не бросаем, а расширяемся, — убеждал Белоус. — Там земля лучше, там будем сеять больше. А сюда будем возвращаться — навещать. — А если опять придут?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.